

79 02
134

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Р. С. Ф. С. Р.

Народный Комиссариат Просвещения.

М. А. Рыбникова.

ИЗУЧЕНИЕ РОДНОГО ЯЗЫКА

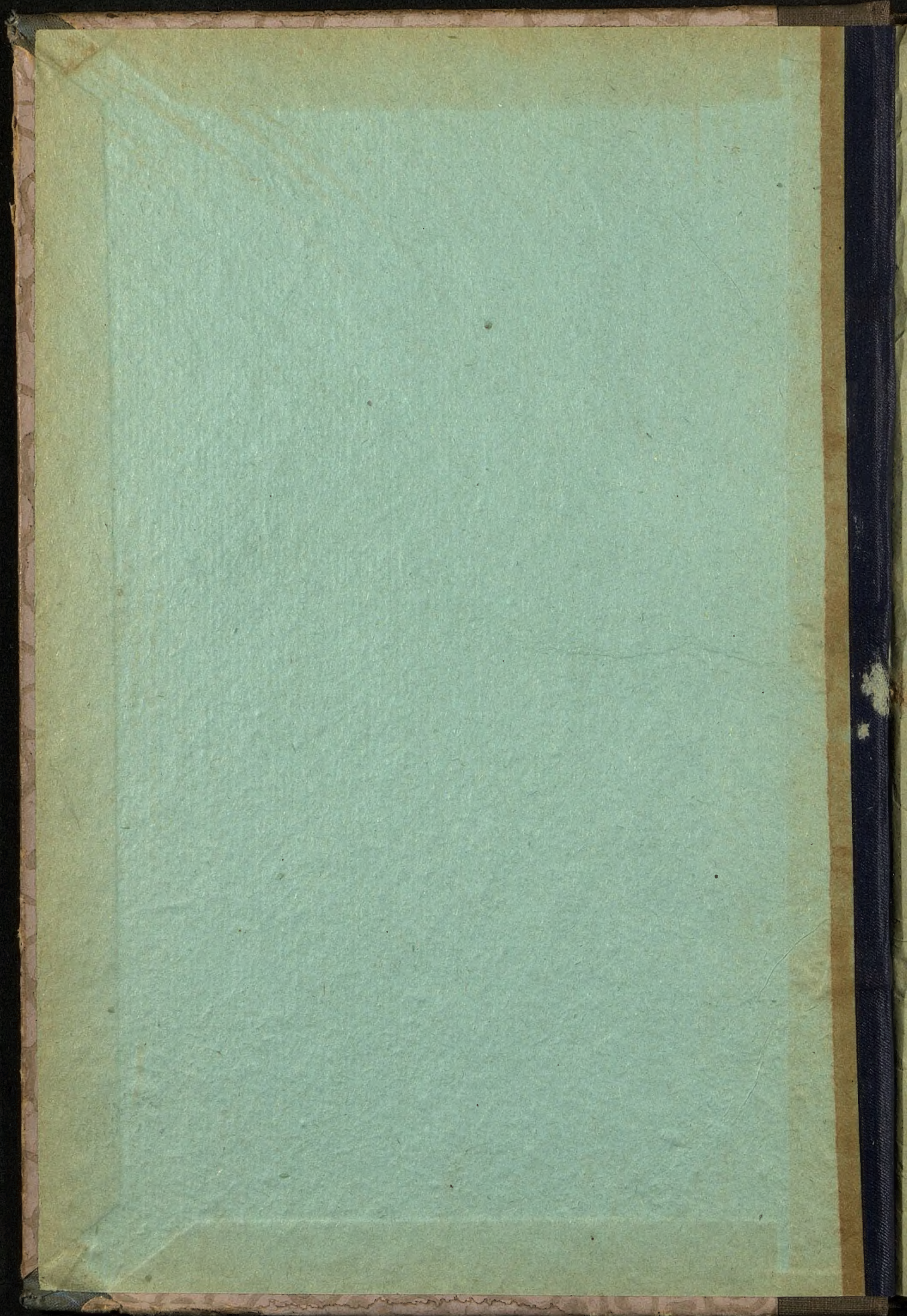
(Заметки и задания)

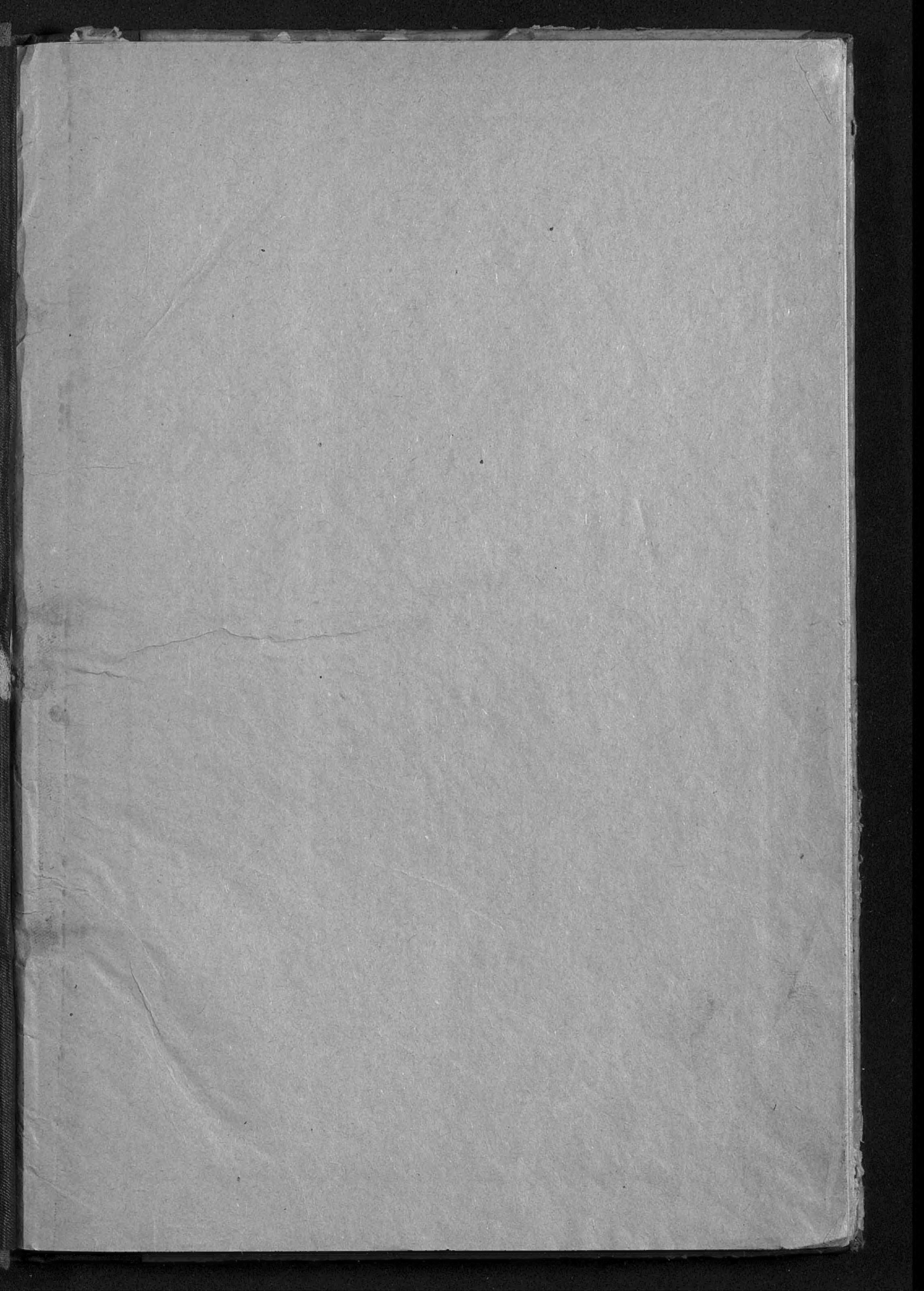
Выпуск I

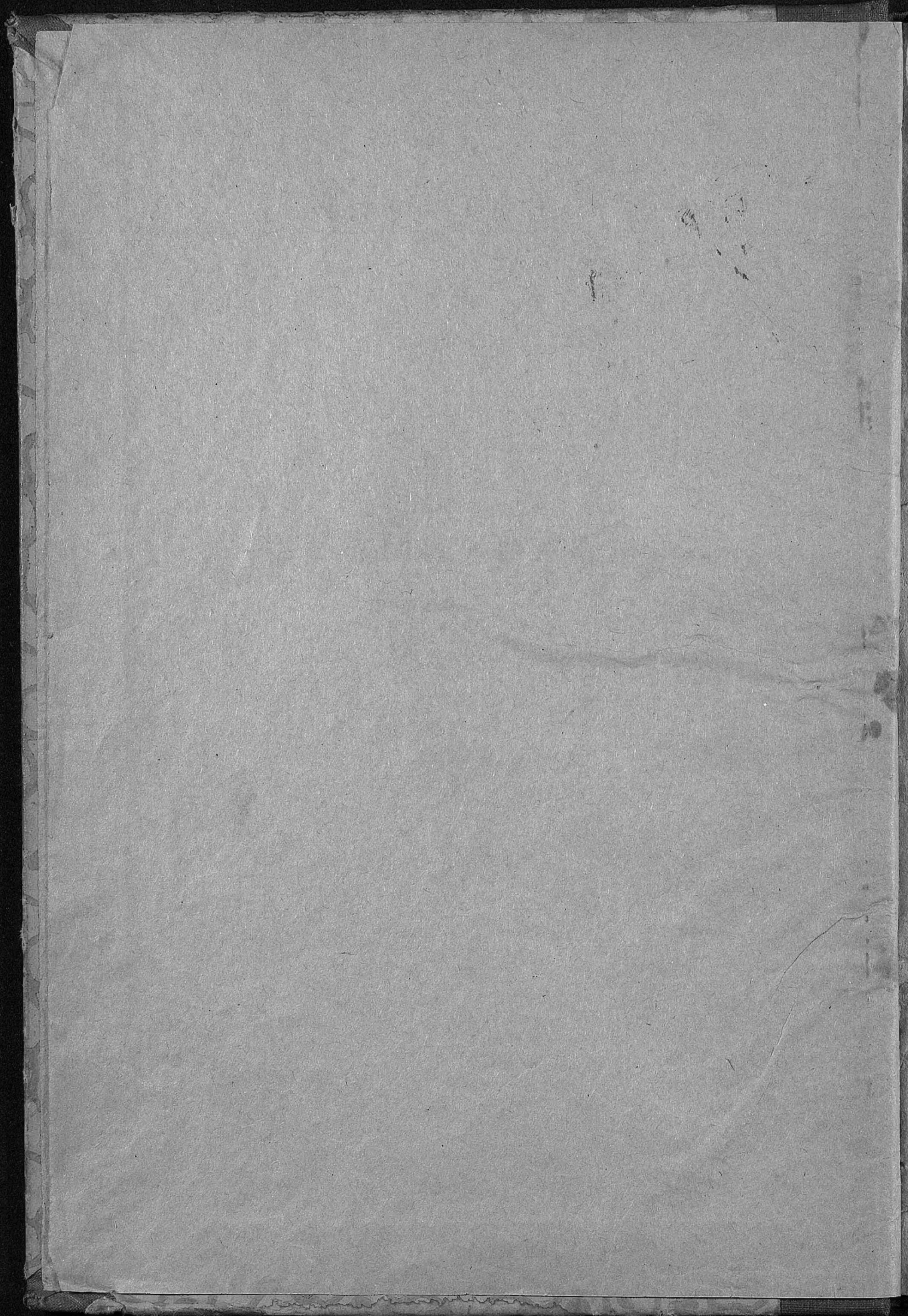


Государственное Издательство

1921 г.







Пролетарии всех стран соединяйтесь!

Р. С. Ф. С. Р.

Народный Комиссариат Просвещения

М. А. Рыбникова.

79 02/134
2050

— **ИЗУЧЕНИЕ** —
РОДНОГО ЯЗЫКА.

(Заметки и задачи)

Выпуск I.



Государственное Издательство
1921 г.





✓
w

Вводная глава

Первоначально замысел автора этой книги сводился к тому, чтобы дать для средней школы сборник стилистических задач и упражнений. В ходе работы обозначился ряд заданий научного свойства; ими нельзя было пренебречь и стилистический задачник пополнился рядом заметок и соображений, которые не нужны школе (хотя бы второй ступени), но нужны словеснику-учителю или словеснику-студенту, нужны человеку, занятому анализом языка (быть может, начинающему поэту, которых так много среди молодежи).

Последние годы интерес к языку вошел в жизнь нашей словесности; поэзия русская, в лице писателей последнего периода нашей литературы, воспитала наконец в читателе любовь к форме словесной, к стилю, к строю речи.

Но еще так недавно, на съезде преподавателей русского языка (на Рождестве 1916—17 г.), раздавались негодующие речи по адресу любителей формы и стиля: их гневно клеймили „формалистами“. Быть может до средней школы и по сию пору не докатилась эта волна повышенного внимания к языку, но в высшую школу она уже проникает. И учителям молодым, быть может, наша книжка за-чем-нибудь и пригодится.

Живое чутье языка, бытующее среди простого народа, среди детей, среди всех классов общества (ведь так жестоко спорят о том, можно ли говорить „извиняюсь“) — это живое чувство языка своевременно не растится школой. До сих пор только низшая ступень ставила в задачу себе развитие речи. Средняя школа по большей части забывает об этой своей обязанности. Для детей младшего возраста имеется отличная хрестоматия Острогорского, прекрасно составленное пособие Лопыревой, Соловьевой, Тихеевой и Ционглинской „Развитие речи“. Во всякой современной методике русского языка вы найдете соответствующую главу. Но как только курс русского языка делает поворот от объяснительного чтения и грамматики к теории и истории словесности, учитель, в большинстве своем, забывает, что именно он преподает. А преподает он русский язык. Русская литература берется лишь со стороны ее содержания, идейности. Преподаватель словесности чувствует себя учителем жизни, на его уроках вырабатывается мировоззрение, изучаются вопросы общественные, политические, моральные и очень редко уделяется внимание языку, форме, вопросам эстетическим.

Я совсем не хочу сказать, что не нужно говорить на уроках русского языка о содержании, о людях и о жизни, о судьбе писателя и о его мировоззрении — конечно, нужно. Но это одно и только это даст в общей сложности курс вопросов этических и политических, обойдя язык, как таковой, как форму, в которую неизбежно отливается всякое содержание, без которой содержание это не может существовать и мыслиться.

И напрасно думают, что в этих вопросах мы вернемся к той старине, которая морила детей сухими терминами теории словесности, реторики и стилистики. Кто думает так, тот не чувствует сам жизни языка, тот, очевидно, не знает наслаждения слушать хорошую меткую, ядреную русскую речь, — а это наслаждение великое! Задача учителя русского языка — приобщить юношество этой радости, заразить их этой любовью к слову и к образу, научить их любоваться чужим языком и заставить их иметь свой собственный.

Подлежит прежде всего изучению слово, как таковое, — его корень и суффиксы. Должно вести работу в этом направлении не только с подростками, но и с юношеством, и можно поставить эти задачи так, чтобы работа класса велась бодро и весело, чтобы эти задачи будили мысль и развивали свой почин, чтобы они пробуждали здоровое любопытство.

Нужно сделать понятным и близким факт обновления и обогащения живой речи новыми словами, изучать его не только по Карамзину, но и по Белому. Нужно, вместе со вкусом к старому и принятому, развить здоровое чутье к наглядному развитию языка, — ибо в подавляющем своем составе люди необычайно

консервативны и неподатливы на всякие уклонения от общепринятого и боятся новшеств.

Слово народное может дать также обильную пищу для всяческих упражнений и задач. Часто забытое нами, оно ждет своего воскресения, чтобы войти в речь, оживить, углубить, и украсить ее.

Язык, как таковой, изучается обычно лишь в отделе стилистики, при прохождении теории словесности. Однако должно его изучать в течение всего курса и теории и истории словесности, и изучать так, чтобы наблюдения делались самими учащимися, а не только учителем.

Из отдела теории словесности мною взяты лишь две темы: эпитет и звуковая сторона речи (звуконись).

Большинство филологов—академического типа, направили свое внимание на фонетку: ее изучают в высшей школе, хотят провести и в среднюю. Философская сторона слова в его целом остается в загоне, изучаются звуки, и забыты слова. Внимание к этому слову хочет выдвинуть современный школьный учитель русского языка—вслед за Буслаевым (нам нужно помнить и перечитывать его книжку „О преподавании отечественного языка“),—вслед за Острогорским, вслед за немецким методистом Гильдебрандом.

Нужно изучать и строение предложения, но этой стороны стиля книга наша пока не касается.

Мне приходилось проводить изучение языка и с подростками средней школы и с учителями начальных школ на учительских курсах.

Скажу, что со стороны методической в этом деле нужно особенно твердо помнить, что ход работы неуклонно должен идти *от примеров к рассуждению*, а не обратно. Если вы желаете заинтересовать слушателей эпитетом, то начните с предложения найти ряд пропущенных, скажем, эпитетов в отрывке Тургенева или в стихотворении Тютчева. Когда каждый на опыте узнает, как трудно его найти, этот самый эпитет, и какой он у того же Тютчева неожиданный и яркий, тогда ему неудержимо захочется выучить это стихотворение наизусть и он с радостью будет слушать о том, что вы ему будете говорить об эпитетах Лермонтова и Пушкина. Только тогда—не раньше. Упражнение, испытание собственных сил—единственно верный путь к зарождению внимания. Данный вопрос не существует для большинства людей, пока умелый руководитель не сделает его в слабом сознании учащегося—*вопросом*. А сделать его вопросом должно практически. Иначе, все это будет ветошь маскарада, слова о словах. Говорящий о стиле всегда рискует воскресить схоластику, реторику, пиитику древних времен, если он поведет эту свою речь о стиле, не вызвав предварительно к жизни самостоятельной мысли своего слушателя.

Конечно, хорошему словеснику и опытному учителю не нужны специально составленные задачи. Всякий текст для него—готовая задача, неожиданное упражнение. Но таких учителей мало, и, думается, для начинающих наши задачи не бесполезны.

Они, в общей сложности, направлены к изучению языка народного, к изучению языка новой русской литературы. Хотелось достигнуть более тонкого понимания литературной и живой речи.

Изучение ведется преимущественно на языке Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Тютчева, Лескова, Клюева и Андрея Белого; стиля этих писателей касается наша книга по различным поводам.

В итоге, хочется сказать, что основной темой этого выпуска является *слово*; за ним должно последовать изучение *предложения*; затем—*поэтического образа*. И, наконец, как заключение—изучение *композиции целого художественного произведения*. Таков план всей нашей работы в ее будущем; пока предлагаю лишь натало ее и приношу мою искреннюю благодарность лицам, которые помогли мне ее осуществить своей поддержкой и указаниями: Николаю Павловичу Сидорову и Дмитрию Николаевичу Ушакову.

Корень слова.

Найти корень слова—это значит найти его внутренний, затаенный смысл,—то же, что зажечь внутри фонаря огонек. Слова обращаются в речи с угаснувшим светом их смысла; их значение то же, что значение кредитных бумажек, которые подлежат обменять на серебро и золото подлинного смысла и значительности. „Видеть сокровенное содержание слов: иметь возможность судить об их первоначальной настоящей стоимости не только полезно и приятно, но прямо необходимо.“ *)

Берем слова: *опешить* и *ошеломить*,—что они значат? „Опешить“—значит конному, на всем скоку, с коня долой, стать пешим. Ошеломить—ударить по шлему: боевой, опасный удар, лишаящий противника сознания и боеспособности.—„ошеломить“. Берем слова—*перчатка* и *челка*, ставим первое в связь со словом *перст*, а второе со словом *чело*; перчатка в отличие от рукавицы, натягивается на каждый палец, на каждый перст: челка падает на лоб, на чело. Произведите слово *четкий* от слова читать (то, что легко прочесть), поставьте слово *трава* в связь со словами *потрава*, *отравиться* (польское *potrawa*—еда)—и вы сразу почувствуете их первоначальный и затаенный смысл; слова станут более вескими, воскреснут в своем историческом прошлом, и встанет каждое в своей самости.

Говорит Ан. Белый: „Корни живы, но замерли: они спят в летаргическом сне; пробуждение их в словах отзывается в искусственных смыслах подземным даром“. „Корень слова—метафора сама по себе; и она не нуждается в образном пояснении“. **)

Пробудить корень слова—это значит сделать его образом. Собственно, новейшие попытки составлять такие слова, как „омолниться“, „грохотно“, „слякоти“, „тусклости“, „обезвудушиться“—все эти преобразования Бальмонта, футуристов, Игоря Северянина, Андрея Белого направлены к тому, чтобы неожиданными приставками и окончаниями вставить в новую раму старый корень, озарить его смыслом, воскресить его образную силу. „Осветилось молнией“—это привычно и не задает воображения,—„омолилось все“—это говорит нашим глазам и нашему уху, говорит выразительно, четко и ярко.

Таков путь поэта к обновлению языка и речи, он творит образы, создавая новые формы,—это доступно немногим. Но ведь можно и старые слова насытить значительностью и смыслом, и эта работа доступна всякому любителю языка и речи. Неисчерпаемый источник может дать тот же словарь Даля. Его можно не только листать, его должно читать и изучать. ***) Даль называет родственные по корню слова „одного гнезда птенцы“, и, располагая их по гнездам, он открывает иногда совершенно неожиданный смысл этих слов, любовно обводя своим духовным взором каждое слово, каждое существительное и каждый глагол.

Говоря о корнях, мы, конечно, не думаем находить корни праязыка, не уходим в санскрит, а берем доступное нашему русскому литературному взору. Народный язык, язык древней русской литературы то и дело озаряет особым смыслом современные нам слова и речения. Наши задачи, в этой их практической стороне, не берут корня на пределах доступных научному языкознанию (да и этот корень считается учеными далеким от первоосновы), а сличают лишь совре-

*) Гильдебранд, „О преподавании родного языка в школе“, стр. 132.

**) Скифы 1 т. А. Белый. „Жезл Аарона“, стр. 160 и 161.

***) См. также, „Этимологический словарь“ Преображенского, с 1910 г. по 1916 г. вышло 14 выпусков. Трофимов. „Словообразовательные таблицы“.

менное слово с его ближайшими родичами и родоначальниками. Отношение корня, как действительного слова, к производным сходно с отношением родоначальника к потомству, говорит Потебня. *) В роду, как и в ряду сходных слов, до некоторой степени сохраняются известные наследственные черты. Родовые черты могут быть отвлечены, но это отвлечение, хотя и входит в характеристику каждого из членов рода и хотя может служить посылкою к заключению о свойствах родоначальника, никаким чудом не станет понятием об этом родоначальнике. Подобным образом и корень, как отвлечение, включает в себе некоторые указания на свойства слова, как настоящего слова, но не может никогда равняться этому последнему.

Итак мы берем слово *корень*, как некое рабочее, практическое понятие; это признаки родства между словами одного рода, одной семьи.

Классной обработке и анализу может предстать каждое слово, встретившееся в разговоре или в книге, но возможно ставить своего рода задачи для специальных упражнений в этой области. Вот пример.

№ 1.

Уяснив себе корень слова, подчеркните разницу в смысле следующих слов:

а. **)

Перчатка, рукавица.
Сад, роща.
Плетень, частокол.
Клюв, рыло.
Токарь, резчик.
Будни, праздник.

б.

Соратник, союзник.
Купель, колыбель.
Наперник, наушник.
Сажа, дым.
Сливки, сметана.
Разбойник, тать.
Заочный, наглядный.
Вторник, четверг.

При классной работе, самое лучшее продиктовать текст задачи, чтобы он был у каждого в его тетради, и только потом выписывать на доске попарно данные в задаче слова.

№ 2.

Объясните принадлежность слов к одному корню их смыслом.***)

а. ****)

Прибаутка, убаюкивать, басня.
Бойня, обои.
Собор, сборки.
Забор, забрало, борец.
Будить, бдение, будни.
Варежье, повар.
Повелитель, воля, довольно.

б.

Грабли, сугроб.
Ограниченный, многогранный.
Приданое, задача, поцданный, да-
тельный (падеж).
Дольний, подол, долой.
Дробь, подробно.
Драка, дыра, ноздри.

*) Потебня. Из записок по русск. грамматике I ч. ст. 16. Харьков 1883 г.

**) Ответ должен быть, примерно, таков: клюв—то, чем клюют, рыло—то, чем роют.

***) Корни расположены в алфавитном порядке.

****) Бойня—место, где бьют людей или скотину, обои—то, чем обивают комнату (в старину обивали, а не обклеивали).

Веретено, увертливый.
Весло, воз.
Влага, волглый.
Вожжи, вождь.
Облако, наволочка.
Привидение, провидение, сидеть.
Венок, вить, покойник, вьюга.
Ветер, ветрило.
Невежда, ведьма.
Связка, обязанность.

Дрожжи, прочена.
Дюжий, недуг.
Жерло, ожерелье.
Звено, позвонок.
Создатель, здание, зодчий.
Зрачек, зеркало, зрелище.

В.

Около, (коло—крут), колея, двуколка,
колобродить, калач (колеч).
Клеть, клетка.
Колыбель, непоколебимый.
Копилка, скопидомка; копна, совокупно.
Крыло, покрывало, сокровище.
Кушанье, кусок; искус, искусство.
Сливки, лейка.
Личина, лицедейство.
Лук, лукавый, излучина.

Г.

Мазь, масленица.
Мгновение, мигать.
Межа, междоусобие.
Моровая (язва), уморительный.
Сумрак, обморок, морочить.
Сметана, предмет.
Мыло, помой.
Замок, замок, замкнутый.
Заноза, пронзительный, нож.
Отчизна, вотчим.

Д.

Запад, нападение.
Перстень, наперсток.
Пастух, припасы.
Наперсник, наперсный (крест).
Опекун, беспечный.
Пиво, пьяница.
Пища, воспитатель.
Племянник, иноплемянник.
Сплетни, переплетчик.
Запятая, запнуться, перепонка, запонка.
Пружина, упругий.
Почка, выпуклый.
Пехота, опешить.

Е.

Народ, сродники.
Пророк, порок.
Сад, рассада, седло.
Середа, средоточие, сердце.
Солод, наслаждение.
Наследник, следовательно.
Засов, совок.
Постель, подстилка.
Простуда, студень.
Суeta, суеверие.
Рассудок, судьба, суженый.
Пасынок, сноха.
Секира, сечка.
Осенить, сени.

Ж.

З.

Потайной, тать.
Затычка, точка.
Стирка, затор.
Потрава, отравиться, трава.
Растрогать, растерзать.
Трус, трястись.
Узник, союзник.
Наизусть, устье.
Завтрак, заутреня.

Начало, конец. *) Зачинщик, чин, сочи-
нение.
Нечаянно, отчаяние.
Участие, счастье.
Челка, чело.
Чтение, четкий.
Чудак, чудесник.
Ощущение, чуткий.
Шило, подошва.

*) См. Даля II т., слово «кон».

Подушка, наушник, внушать.
Восхищение, похищение.

Шлем, ошеломить.
Снедь, обед, едкий.
Из'ять, обнять, под'емный, взятка,
внимание, имение.

№ 3.

Найдите общий корень данных сложных слов и об'ясните себе точнее их смысл.

а.

Чистоплотный, плотоядный.
Сумасбродный, скудоумный.
Чародей, лиходей.
Кругозор, мировоззрение.

Краснобай, красноречие.
Лицедействие, олицетворение.
Лихоимец, лихоletье.
Природоведение, языковедение.

б.

Мироед, тунеядец.
Колобродить, коловращение.
Челобитная, рукобитье.
Млекопитающее, молокосос.
Водосточный, половодье.
Великожа, великоление.
Сомноволющий, своевольный.
Вертопрах, коловращение.

в.

Скорлупа, лупоглазый.
Очевидный, стокий.
Многогранный, многовещательный.
Благородный, худородный.
Полномочный, маломочный.
Сердобольный, жестокосердный.
Честолюбивый, корыстолюбивый.
Трясогузка, кургузый.

№ 4.

Докажите, что данные слова не одного корня.

а.

Поднос, переносица.
Водосточный, средоточие.
Нахлебник, прихлебатель.
Расцвет, рассвет.
Воздаяние, создание.
Сложение, одолжение.
Наперсток, наперсник.
Простокваша, кашевар.
Повреждение, предупреждение.
Дольный, дальний.
Улицы, улица.
Величие, приличие.
Научный, докучный.

б.

Подушка, подушная (подать).
Запотелый, телодвижение.
Неровный, нервный.
Предмет, примета.
Мощеный, мощный.
Промяться, променада.
Сажать, пассажир.
Капель, купель.
Стремглав, мгла.
Слаженный, сладкий.
Замарать, мораль.
Чиркать, циркуль.
Наводнение, завод.
Кручина, ручной.
Пролетарий, пролететь.

№ 5.

Какой звук исчез в корнях нижеследующих слов: Облако, обод, обоз, об-
ласть, обязанность, оборот, обнять, обычай, обет.

№ 6.

Объясните происхождение названий дней недели: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.

Примечание: „неделя“ — воскресенье (по церковному; суббота седьмой день недели у евреев).

Занимаясь задачами на словопроизводство, учитель то и дело будет соприкасаться с вопросами психологии и истории культуры и логики. Как произошли названия цветов? Большинство названий цветов произошли от названий предметов: голубь—голубой, пепел—пепельный, сера—серый; почему так?

Вот какой ответ дает Потебня.

„Чувственный образ звука, цвета есть сам в себе противоречие, потому что мы видим не один цвет, а цветной предмет, и даже звук, которого действительный источник может от нас скрыться, мы приурочиваем к тому предмету, со стороны коего он слышен. Название некоторых цветов еще и теперь явственно укажут на чувственные образы, из коих они выделены: как *голубой* есть цвет *голубя*, *соловый*—*соловья*. Польск. *niebieski* цвет *неба*“.*)

Чрезвычайно любопытно связать следующие понятия:

коричневый—корица,
рыжий—руда,
желтый—золото,

дымчатый—дым,
вороний—ворон и т. д.

Для знающих язык иностранный, хоть французский, интересным должно быть такое упражнение:

№ 7.

Объяснить происхождение следующих слов: оранжевый, розовый, фиолетовый, леловый, палевый.

В старину говорили еще „сризový“ и „бланжевый“ цвет: что это значило?

Что значило в старом русском языке слово *красный*? Укажите слова и выражения, в которых этот корень сохранил свой прежний смысл.**)

Что значит слово „красный“ в наше время? Примеры.

Интерес к слову неизменно связан с интересом к прошлому, к истории языка и культуры. То же слово *красный* имеет тройное значение (красота, цвет, революционность) и имеет свои отклонения в периодах русской культуры. Слово может менять свой смысл и оставаться в языке на новой роли, слово может быть вытеснено другим; оно может пропасть в своем коренном первоначальном смысле и бытовать лишь в производных формах. Пропало слово *праць* (жать, давить, выжимать), но мы знаем слово *прачка*; мы почти не понимаем слова *портно* (узкий, грубый холст, на крестьянские и рабочие рубахи), но в слове *портной* без этого корня не обойдемся; *тин*—рубли, старинное слово, оставшееся в нашем *полтина*.

И так без конца. Словно осенние листья обсыпаятся с словесного древа забытые нами слова, но в круговороте жизни они не пропадают, из тех же сучков тянется новая зелень; увлекательно и радостно узнавать в ней узоры старой формации, первооснову, различать ухом забытую кучку осмысленных звуков, то, что зовется корнем.

*) Потебня „Мысль и язык“, Стр. 129.

**) См. Дали и т. слово *красный*.

№ 8.

Попробуйте догадаться, какие знакомые вам слова произошли от нижеприведенных старинных или областных русских слов.

Грать (что)—жать, давить, выжимать, выдавливать; особ. о белье, стирать вымывая, колотить вальком. „Белье стирают дома, а прут и полощут на речке“.

Портно—узкий, грубый холст, на крестьянские и рабочие рубахи. „Не скроив портна не сошьешь“. *Портнице*—отрезок в меру от какой-либо ткани на одежду, платье, одежда.

Вага—тяжесть, тягота, вес. „Эка вага, не вздымешь“. „*Ва жисть*—тянуть тяжестью своею, весить, содержать в себе вес“.

Друк, дручек—жердина, рычаг, слега, гнет.

Алббор—устройство, порядок. *Албборить*—ворочать делами, приводить по своему в порядок.

Тин—рубль.

Дрбчить, дрбчивать—вздымать, подымать, вздывать, подвысить.

Почекать—подождать.

Борзиться—торопиться, спешить.

Брезг—рассвет. Это слово встречается в стихах Клюева.

Смерть моих костей не обглодала,
Из телес не выплвила сала,
Чтобы отлечь свечу, чей брезг бездонный
У умерших теплится во взоре. *)

Брение—грязь, глина.

„Плюну на землю и сотвори брение из плюновения и помази очи моему брением“ (Еванг.)

Варити—предупреждать, встречать.

Верста—возраст, пара, чета.

Запа—надежда, ожидание. **)

№ 9.

Проверьте на данных примерах, все ли корни в современном языке возможно употреблять без приставок.

Повергнуть, внутренний, предварить, погодить, неугомонный, докучный, разверзать, привычка, ответ, обуза, удручать, недуг, натошак, нахлабучить, обморок, обман. ***)

№ 10.

Какие слова в каждой данной группе нужно считать более поздними.

Пятнадцать, пять, пятерка, пятница, Пятницкий, пятидесятница.
Голень, голый, голенище.

*) Мирские думы, стр. 18.

**) Прачка, портной, важный, удрученный и водрузить, безалаберный, поганник, дрожа, на чеку, борзал, брезжит, бранный, предварить, сверстник, внезапно.

***) Следует иметь в виду древние глаголы: вергнуть—бросить, варити—встретить, верзати—вязать слово „друк“—рычаг, шест.

Ведомство, вельма, вежество, осведомительный.
Городничий, городской, пригород, город, огород.
Гость, гостеприимный, гостиница, гостиная, угощать.
Вышний Волочек, волок, проволока, облако.
Горький, горе, горчица, гореть, горячка, горн, горшок, гончар.
Воротник, ворот, *) косоворотка, отворот.
Самострел, застрелившийся, стрела, стрельчатый, стрелочник.

Чрезвычайно интересный материал для анализа слов дают фамилии. В книге Гильдебранда „О преподавании родного языка в школе“ есть отличные странички на эту тему. „Начать можно со своего же класса, а потом привлечь к делу фамилии всей школы (не исключая конечно, и учителей); мы сейчас же непременно наткнемся на фамилии Schmidt, Müller...“

Вопрос же о том, почему именно эти имена встречаются всего чаще, быстро вводит нас в самую жизнь, где открывается такое поле для наблюдений и поисков, что всем становится весело. Скорее всего мы достигнем цели, если начнем представлять себе, как в отдаленные времена, куда так охотно переносятся мысли учеников, возникал какой-нибудь новый поселок, хотя бы тот, где теперь находится наша школа. Стоит предположить этому несколько слов о старых ручных мельницах, — и ученики сами сообразят, что Müller, мельник, был необходимейшим членом новой общины; сообразят они и то, что в селах и маленьких городках, вслед за ним или даже на ряду с ним должен был идти Schmidt, кузнец, выделывавший железные орудия для поля и металлические вещи для домашнего обихода“.

Однако не все фамилии можно вывести из общественных форм, часто они являются производными от слов иностранных, старых, областных или малоизвестных. Напр. *кутуз* — подушка, на которой плетут кружева (Кутузов); *врубель* — польское слово воробей (Врубель); *суворый* — суровый (Суворов); *пенязь* — мелкая монета, Pfennig (Пенязев); *бирюк* — волк (Бирюков); *рыбник* — пирог с рыбой (Рыбников).

Вот примеры более тщательного анализа некоторых менее понятных фамилий. *Салтыков*. Салтык — лад, склад или образец. „У всякого шлык на свой салтык“ (посл.) „Иди, голубчик, под мой салтык, свою волю под лавку брось, пляши, дурень под мою дудочку“. (Мельников — Печерский).

Мережковский. Мрежи — сети, мережка — петелька, клеточка в вязанье. „Мрежи рыбак расстилал по берегу студеного моря“ (Пушкин). Народная сказка про паука: „Он с горя с кручинунки стал ножками трясти да мережки плести, ставить те мережки на те путь дорожки, где мухи летали“.

Гоголь. Гоголь — водяная птица, из семейства уток. Гоголь — щеголь, франт, волокита. „У всей дружины хоробрые жеребья гоголем по воде плывут, а у Салка купца ключом на дно“. (Былина). „Прошелся по тротуару гоголем, паводят на всех лорнет“. (Гоголь „Портрет“).

Ковалевский. Ковалев. Коваль — кузнец. „Коваль, мой друг, скуй ты мне три пожи, и чтоб были те пожи и остры и хороши“. (Старинная песня). Коли не коваль, так и руки не погань. (Посл.)

Щербатов, Щербинин. Щерба — выбоина, изъям, зазубринка. Щербатое ли по — рясное, тарелки, поживк. „Гроза богатому: даст денежку щербатую“. (Посл.) „Когда Господь поволит мать сыру землю наградить, пошлет Он ангела небесного на солнце и велит ему иверень (осколок) от солнца отщербить и вложить в громовую тучу“. (Мельников — Печерский). „Развязаны дикие страсти под игом ущербной луны“. (Блок). „Да я чувствую потребность помочь этому человеку. Для этого мне придется ущербить собственное благосостояние“. („Воспоминания“ Фета).

*) Ворот — др. рус. шен, то что вращает голову.

Пенязев. Пенязь—pfannig, монета. Слово постоянно встречается в древней письменности, в Остромировом евангелии: „Совещав с делатели по пенязю на день, сосла я в виноград свой“. „Постный—от он постный, только не пьюще, не ядуще, а пенязи беруще,—с усмешкой молвила Манефа“. (Мелыи. Печерский). Пенязев—фамилія купеческая.

Нижеследующие примеры приводят нас к первоисточнику всяких фамилий, к прозвищу, записанному по живым следам среди простого народа и открывает нам много любопытного. *)

Селезень. Исстари прозвали Селезнем, по случаю того, что усадьба в деревне находилась на самом низком месте, где всегда под домом вода стояла.

Селезня теперь переделывают в Селезнева.

Дмитрий Рак. Еще дед прозван так односельчанами за огненно рыжие волосы и красный цвет лица. Отец, внук и вся семья неизменно рыжи и красны лицом, чем и поддерживают данное прозвище.

Осип Середа. „Еще как крепостными были Горожанского барина, так вот отцу моего деда как то раз с выпасу велено было лошадь привести, а он не ту привел. Барин и заругался на него: „Ах, ты Середа слепая!“ С той поры и стал так прозываться он Середой, и мы все прочие от него“.

Жареный. Так его деда еще прозвали, за то что все бывало, тепло ли холодно, —на печи лежал да трубку сосал. Так и пошел он жареным, и сын и внуки теперь в четвертом колене пишутся Жареными.

Стрелец. Оттого что из ружья нечаянно мальчика застрелил.

Алена Клюква. Так прозвали за красный цвет лица, бывший до самой старости.

Данило Царь. Когда напивался, то все выхвалялся: „Я де такой сякой, богач, я—царь. Прозвали его царем, а по нем жене его царигей. Бывало спросят: кто идет? „Да, Алена—Царица пошла“.

Ручкин. У мальчика рука болела правая, словно отсохшая стала. Все дела больше левой рукой справляет, даже Богу молится. Вот и прозвали его Ручкин, и все потомство пошло Ручкины.

Барабан. Семен Павлов. „А зовут меня Барабаном по отцу деда. Он барабан нашел, на дороге где-то, солдаты должно потеряли. Принес его отцу Дмитрию-Сережанскому (священ.) Ну, тот подивовался и говорит: „Значит тебе, Осипушка, и быть отсель Барабаном“. Так и деда Митрия звали Барабан, а батьку тож. И детки пошли Барабанята. Из плена сын так и пишет: Евдоким Семенов Барабанов... Люблю, когда меня Барабаном зовут! Как скажут. „Барабан!“ Так я тотчас и откликнусь: „Я за него“. А что такое Семен? Семенов на деревне много, а вот Барабан часть особая“.

Если в нашу пору такие имена, как Стрелец, Царь, Барабан прозвища, то в более отдаленную эпоху это были личные имена. Такие наименования, как Василий, Софья, Георгий, Максим и сотни других пришли к нам с принятием христианства из Византийской церкви. А до той поры наши предки называли своих детей „или от взора и естества дитища, или от времени или от вещи, или от притчи“ **). И тогда люди звались так: *Первой, Друган, Пятой, Соболь, Сокол, Милой, Толстой, Внук, Воин, Ведун, Муха, Лисица, Жук, Заяц, Докука, Неудача, Незор, Неждан, Торопка, Угрюм, Вешняк, Добрыня, Некрас.*

Исследователи утверждают, что большинство наших фамилий пошло не от прозвищ, примеры которых мы видим в записях Е. Н. Клетновой, а именно от

*) Прозвища эти записаны в Вяземском уезде Смоленской губ. Е. Н. Клетновой, которая и дала мне любезное разрешение воспользоваться записью. Собираясь к крестьянам, при случае, спрашивала крестьян, откуда взялись их прозвища, и ответы их записывала дословно.

**) Цитирую один из Азбуковников по указанию Тупинова „Заметки к истории древне-русских личных имен“. СПб. 1892. См. также Чечулин „Личные имена в писцовых книгах XII века“ СПб. 1890 г.

этих древних личных имен, которые лишь в XV—XVI веке стали выступать в значении личных прозвищ, а потом в роли родовых кличек, т. е. фамилий.

Среди этих древних имен без труда находим много таких, от которых произведены современные известные всем фамилии:

Рюма (шакса), *Плещей* (плещущий), *Скряба* (скребущий), *Кирей*, *Некрас*, (некрасивый), *Верещага*, (вздорный человек) отсюда: Рюмин, Плещеев, Скрибин, Киреев и Киреевский, Некрасов, Верещагин.

№ 11.

Дайте себе отчет, по каким качествам именуемого человека или в связи с какими событиями его жизни могли быть даны в старину такие личные имена:

Третьяк, Борзой, Худяк, Чернава, Горемыка, Рыбицк, Докука, Брех, Вещняк, Кунава, Некраса, Несмеяна, Невзор, Рюма, Неждан, Лобан, Найдено, Рудак, Торопка, Угрюм, Упряжко, Верещага, Нелюб, Ждан, Позняк, Соловей, Басенок.

Попробуйте также произвести от этих имен известные вам современные фамилии.

Любопытно обратить внимание на краткие пометки, которые сообщает об этих именах исследователь Тупиков и Чечулин. „Тороп, холоп, в Суздали“, Боголеп—имя священника. Иларишр, Святослав, Всеволод—имена княжеские. Волк—прозвище мясника, Соловей—ямщика, Рыбак—крестьянин, Истома—священник.

Очевидно, многие из этих имен утвердились за человеком не в детстве, а в зрелом возрасте, в связи с ярким влиянием какой-либо стороны его характера или в связи с его работой: Слуга—Тороп назван так, видимо, за расторопность, ямщика Соловей—за его песни.

№ 12.

Попробуйте объяснить себе происхождение каких либо фамилий, пользуясь словарями Даля (Толковый словарь живого великорусского языка), Срезневского (Материалы для словаря древнерусского языка) и Преображенского (Этимологический словарь)*).

Историю Москвы можно вообразить себе, вникнуть в названия ее площадей, улиц и переулков; как выросла Москва, можно судить хотя бы по тому, что переиначивая *Остроженка* свидетельствует о стогах стоявших на берегу реки, *Болото*, *Полянка*—были действительно болотом и полянкой, *Девичье поле* перестало на наших глазах быть полем.

К старому городу в первую очередь примыкали торговые люди, Соляная слобода, торговавшая солью—Солянка, Мясницкая (жили мясники, державшие убойные дворы), Лубянка, Рыбный, Хрустальный и Ветошный переулки. Поварская с переулками: Ножовым, Столовым, Окатертым и Хлебным были повидимому резиденцией царской кухни. Толмачевские переулки в Замоскворечьи говорят о живших здесь толмачах (устные переводчики), а прилегающие сюда улицы Татарская и Ордынка указывают на то, что переводчики эти служили для сношения с Ордой и татарами, остававшимися очевидно в этой именно части города. А валы и ворота (Земляной вал, Пречистенские ворота, Калужские ворота) все это материал для бесед по истории культуры и языка.**)

Каждый провинциальный город имеет свою историю. И словесный материал, даваемый названиями его улиц, площадей, пригородов, может быть разобран на уроках языка, и послужит, быть может, толчком к тщательному и любовному изучению родного края.

*) Последний наиболее доступен по цене и соединяет в себе основной материал двух первых словарей. Еще проще и доступнее *Корни славянских имен в русском языке* В. Зелинского.

**) См. „По Москве“, под ред. Гейнике, Влагина, Ермиловой, Шитца. М. 1917 г. Издание Сабашниковых.

III.

Старые и новые слова.

Наше время—начало XX века—пора революционной ломки русского языка. Новая поэзия, в лице Бальмонта, Северянина, Ан. Белого, кует горстями новообразования:

Секунды быстрились, быстрились—
взрывали,
ревели,
рвали,
Пеной выстрел, на выстреле
Огнел в кровавом вале.—
Так громыхает Вл. Маяковский („Война и мир“).
Вот строки Ан. Белого:

„Тахо движемся в спящие чащи, в листья за листья там-жердисто, нелисто;
схватились колючие поросли—рогорогини чащами; двигаюсь—в сонные сумерки,
в немом нецветные воды болот“ („Котик Летаев“).

Эти новые слова „огнели“, „быстрились“, „жердисто“—задевают наше ухо вызывают нашу усмешку, и средний обыватель до сих пор относится ко всему этому задорному молодому словарю резко отрицательно. Отсутствует основное понятие—о жизни языка. То, что язык растет, развивается, что облетают на словесном древе старые листья и каждую весну распускаются новые,—об этом нужно еще говорить.

Хочется остановиться на Пушкине. И здесь, на языке величайшего русского поэта, показать, что это язык своей эпохи, частью уже вымерший, показать ряд своеобразий этого языка—ибо и Пушкин создавал слова новые, единичные. Он верный сын XVIII в., он принял язык своих отцов, и нечто от этого языка сказал он в последний раз, этого уже не повторил ни Лермонтов, ни Тургенев, и нам стоит лишь быть внимательнее, чтобы без труда отыскать ряд архаизмов Пушкинской речи. И тут же рядом это несметное богатство языка, эта смелость новообразований!

„Широкошумные дубравы“ „к противочувствиям привычен“, *тяжелозвонкое скаканье*“.

Говоря об архаизмах Пушкинской речи, хочется наметить в них две группы: архаизмы в точном смысле слова (*чувствий пыл старинный*), слова которых мы не примем в наш словарь (*соседственный, ответствовать*) и слова, в которых пожалуй можно видеть утрату языка,—*приманчивый, примолвить, мертвить*.

К такого рода досадным для нас утратам нужно отнести краткость пушкинского глагола, когда он ставит его без приставки; эти обороты нам чужды, но в них чует ухо особенную силу и значительность.

И вас *багрила* кровь и пламень пожирал.

(Восп. в Царском Селе).

Когда кинжал измены хладный,
Когда любви тяжелый сон
Меня терзали и *мертвили*.*)

(Н. Н. Раевскому).

И глухо *вторится* горами
Далекой топот табунов.

(Кавказ. пленник).

Теперь ты ласк моих бежишь.

(Полтава).

*) И слово, звук один, прелестный звук речей меня мертвит и оживляет.
(Батюшков „Разлука“)

Дрема *долит*

(Полтава.)

Так точно старый инвалид
Охотно *клонит* слух прилежный
Рассказам юных усачей.

(Евг. Онег. II гл.)

И вдруг недвижны очи *клонит*
И лень ей далее ступить.

(Евг. Онег. III гл.)

Все душу томную *живит*
Полумучительной отрадой

(Евг. Онег. VII гл.)

Куда по нем свой быстрый бег
Стремит Евгений.

(Евг. Онег. VIII гл.)

К ногам народного кумира
Не *клонит* гордой головы.

(Поэт.)

Врагов, друзей, любовниц глас
Вдруг *молкнет*.

(Евг. Онег. гл. VII)

Творцы бессмертные, питомцы вдохновенья!
Вы цель мне *кажете* в туманах отдаленья.

(К Жуковскому.)

Младые сыновья, товарищи трудов,
Из хижины родной идут собою *множить*
Дворовые толпы измученных рабов.

(Деревня.)

Повсюду труд веселый и прилежный
Сады татар и нивы *богатит*.

(Желание.)

Уж редко, редко *именуют*
Его в беседе юных дев.

(Гроб юноши.)

Я пью один, и на берегах Невы
Меня друзья сегодня *именуют*.

(19 окт. 1825 г.)

Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.

(Стансы.)

И *томит* меня тоскою
Однозвучный жизни шум

(26 мая 1828 г.)

И *высились* и падали цари.
И кровь людей, то славы, то свободы,
То гордости *багрила* алтари.

(19 окт. 1836 г.)

Чудо! Не *сякнет* вода, изливаясь из урны разбитой.
(Царскосельская статуя).

Всех чаще мне она приходит на уста—
И падшего *свежит* неведомою силой.

(Молитва).

*) Как *долит* тоска великая тоскичушка. (Барсов. Причитания I, 11).
И как *долит* да все несносная обидушка. (II, 98).

Бесспорно эта манера сокращать глагол за счет приставки делает его более сильным и выразительным; *сокрушать и крушить, дивиться и удивляться, устремлять и стремить, багрить и обагрять, умерщвлять и мертвить, нудить и принуждать*—разница.

Если даже взять такие примеры из Пушкина, которые привычны нашей речи, то и в них чувствуется та же быстрота словесного удара:

Я *лил* потоки слез нежданных.

(Стансы 1830 года.)

Судьба свои дары *явить* желала в нем.

(К портрету кн. Вяземского).

Буря мглою небо *кроет*.

(Зимний вечер)

И, наконец в стихотворении „Эхо“, в наиболее коротких строках этого разностопного ямба помещены как раз такие бесприставочные глагольные формы:

Свой отклик в воздухе пустом

Родишь ты вдруг.

Ты внемлешь грохоту громов

И гласу бури и валов,

И крику сельских пастухов—

И *илешь* ответ*)

Проявляя эту чуткость к богатству видовых форм русского глагола, Пушкин тем самым достигал удивительной чуткости и меткости в передаче оттенков мысли.

Наблюдая ряд непривычных нашему слуху прилагательных Пушкина, можно сделать вывод, что и в них откинута приставка, или, наоборот, дана такая, которая нас удивляет. Иногда таким же способом создана и другая часть речи, и чаще прилагательное: беззаботный—*заботный*, заманчивый—*приманчивый*, небеззаботный—*забвенный*, заунывный—*унывный*, замучен—*размучен*.

То, что из нашей речи ушли такие слова, как *приманчивый, унывный, забвенный, размучить, примолвить*—это безусловно утраты для языка. Их нельзя назвать архаизмами, ибо они сменены, но не заменены: *приманчивый* не то, что заманчивый, *примолвить* не то, что прибавить.

Вот как Пушкин употреблял эти слова:

Бурлаки,

Опершись на багры стальные,

Унывным голосом поют.

(Странствование Евг. Онег.). **) ***)

Кто место в небе ей укажет,

Примолвя: там остановись! *****)

(Цыганы).

Томных уст и томных глаз

Буду памятью *разлучен******)

(В отдалении от вас)

Как он, без отзыва *утешно* я пою,

И тайные стихи обдумывать люблю.

(Близ мест, где царствует).

И покидая с *небреженьем*

Свою добычу.

(Медв. Всадник.)

*) Знайки говорят, что в латинском языке бесприставочный глагол, как более выразительный, чаще встречается в стихах, и с приставками—в прозе.

**) Унылая пора очей очарованье (осень).

(Барсов I, 26 стр.).

***) Пройдет теплая весна да унывная

*****) Народная сказка о Ерше Ершовиче. „А сороба тут же примолвила.“ Это слово привычно Гоголю, встречается и у Достоевского.

(Афанасьев I, 102).

*****) Желанием чести размучен

Зовет, я слышу славы шум.

(Державин „На смерть кн. Мещерского“)

Оне поют, и с *небреженьем*,
Внимая звонкий голос их.

(Евг. Он. гл. III)

Ты живо *впечатлел* в моем воображеньи
Пустыню мрачную, поэта заточенье.

(К Овидию).

И якорь, *верженный* близ диких берегов.

(К Овидию).

За твой суровый пир.
То *чититель* Промысла, то скептик, то безбожник
Садился Дидерот на шаткий свой треножник

(К вельможе)

Постигнет-ли певца *незапно* волнение.

(Ответ Анониму)

Незапно скроется...

(Евг. Онг. I гл. IX ст.) *)

Когда я погибал *безвинный*, безотрадный...

(Н. Н. Раевскому.)

Храня суровость *обычайну*,
Спокойно ведал он Украину.

(Полтава).

Какой-нибудь рассказ *забвенный*
Ему напомнили теперь.

(Полтава)

Переживет мой век *забвенный*,
Как пережил он век отцов.

(Брожу ли я).

Неподражательная странность.
И резкий охлажденный ум.

(Евг. Он. I гл.)

Любви *приманчивый* фиал.

(Евг. Он. V гл.)

Перекрахмаленный нахал.
В гостях улыбку возбуждал
Своей осанкою *заботной*.

(Евг. Он. VIII гл.)

Он, как душа, неразделим и вечен,
Неколебим, свободен и беспечен.

(19 окт. 1825 г.)

Часто пушкинский язык дает те суффиксы, которые усечены современным произношением: *соседственный*, *семейственный*, *своевольство*; или, наоборот, в его словах после корня, урезаны привычные для нас слоги: *спокойство*, *изящность*. И в этих формах чувствуется уже архаичность.

Я близ тебя еще *спокойство* находил.

(Н. Н. Раевскому)

В его истории *изящность*, простота
Доказывают нам без всякого пристрастья...

(Эпиграммы на Карамзина). **)

*) Но с речью сей *незапно*
Мое все зданье потряслось

(Державин „Видение Мурзы“)

**) Что наше благородство, честь,
Как не изящности душевны...

(Державин. „Вельможа“).

Тебе одной
Свирепство их смягчить возможно.

(Полтава)

Господ *соседственных* селений
Ему не нравились пиры.
Когда б *семейственной* картиной
Пленялся я *хоть* миг единый, *)

Под ними струйки извилились
Ручья *соседственной* долины.

(Евг. Он.)

Их *своеволие*, их порывы.
И запоздалые позывы

(Евг. Он. гл. II.)

Что бросил я? Измен волнение.
Предрассуждений приговор.

(Цыганы). **)

Быть может *чувствий* пыл старинной
Им на минуту овладел.

(Евг. Он. IV гл.)

Любви *безумством* и волнением
Наказан был бы он...

(Ответ Горовцевой)

А царь тем ядом напнтал
Свои *послушливые* стрелы.

(Анчар)

В слезах обнял меня дрожащею рукой
И счастье мне предрек, *незнакомое* мной.

(К Жуковскому)

Каким огнем блеснул *приветный* взор!

(Наперсница волшебной старицы)

Склонясь на чуждый плуг, *покорствуя* бичам,
Здесь рабство тощее влечется по браздам
Неумолимого владельца.

(Деревня.)

Как ты, враждующей *покорствуя* судьбе,
Не славой, участью я равен был тебе.

(К Овидию.)

Когда твой друг на звук твоих речей
Отвечает язвительным молчаньем.

(Коварность.)

Что *благоклонствуешь* ты музам в тишине.

(К вельможе)

Пушкин часто и письма свои начинает глаголом *отвечать*: „Спешу отвечать...“

Семейственный, *соседственный*, *чувствие*—мы воспринимаем, как архаизмы. Знаем, что Карамзин писал о *семейственной* жизни англичан („Письма русского путе-

*) Семейным сходством будь же горд.
(Стансы)

**) Ужели не будем мы только мужественны в победлении наших *предрассуждений*?

(Радищев. Хотимов).

шестейника»), что Радищев и Фонвизин говорили „чувствие“. „Но в чувствии безмерном мои безмолвствуют уста“, говорит и Державин. Так, что в этом смысле верно:

Для нас Державиным стал Пушкин.

Особенно слышен архаизм языка Пушкина, это державинское наследие, в обильных его славянизмах; взять хотя бы „Кавказского пленника“ и „Полтаву“ — так и хлынет волной кыпжность и старина: *очи, перси, лобзания, уста, хладный, сребристый, стенанья, пени, власы и пламень*.

Будде дает из Пушкина целый ряд примеров особенности ударений и произношений слов иностранных; некоторые из них произносились Пушкиным и его современниками так, что кажутся нам совершенно устарелыми.

„1) Музыка, которое у Пушкина, как и у его предшественников, всегда с таким ударением, на французский лад. Это было ударение единственно известное в то время в живом говоре нашей полуфранцузской интеллигенции.

2) На слове *бал*, которое у Пушкина *никогда* не имеет нынешней формы предл. падежа ед. числа: *на балу* (как: *на полу*) а всегда: *на бале*, и никогда не изменяет своего ударения, как это мы видим в нынешнем употреблении: *балы, балов, балами, балах*. У Пушкина вместо этого *всегда: балы, балов, далами, балах*.

3) На слове *дуэль*, которое у Пушкина — мужск. рода согласно французскому *le duel*: „У нас убийство может быть гнусным расчетом: оно избавляет от дуэля...“ пишет Пушкин.

4) На слове *ниш*: „темный *ниш*...“

5) На слове *лент*, вм. нынешнего *лента* — жен. рода.

6) На слове *карафин*, вм. нынешнего *графин*. Срв. франц. *la carafe*.

7) На слове *пиит*, употребительном у Пушкина очень часто при слове *поэт*. Форма *пиит* и *пиита* — наследие ложно-классического периода и его симпатий.

8) На слове *роля* (вин. — *ролю*), вм. нынешнего *роль* — жен. рода.

9) Особенно в слове *аритокрация*.

10) На словах *эполет*, сохранявшем звуковую форму франц. слова: *épaulette*; *боа* — в мужск. роде в место нынешнего среднего, согласно франц. *le boa*; *комода* — (билет), „который оставил я в секретной твоей *комоде*“. Сравни франц. *la commode*. „Он пакостит твои *исбели*.“ На произношении *прожсект*, вм. нынешнего *проект* (Срв. франц. *le projet*). На произношении *символ* с таким ударением как во франц. языке: *le symbole*. Нынешнее *символ*.

Всеми этими словами с их указанными изменениями, произношениями и употреблением Пушкин связан со своим, ныне отжившим, временем, и со своим, ныне уже изменившимся, обществом. (**)

Добавим к наблюдениям проф. Будде свои. Пушкин в письмах пишет: *мемории* (мемуары), *некрология* (некролог), *рوماتизм* (ревматизм)**) *квартира* (квартира) *Ценсура* (цензура); в письмах и стихах пишет *дона* и *Мадона* через одно н.

Быть может, возможно сделать такой вывод: там, где пушкинское слово изменено, по сравнению с нашим в ударении, роде и суффиксе, — оно звучит, как архаизм (музыка, роля, чувство, семейственный); если же перемена произошла в части, предшествующей корню, мы гораздо охотнее принимаем это слово за годное к современному употреблению (приманчивый, мертвить, примолвить, осердить), и кажется, что это слово ждет своего воскресения в живой разговорной речи.

Но так или иначе в Пушкинском языке очень много совершенно для нас необычного и язык великого поэта — это язык эпохи уже изжитой и от нас отошедшей.

*) Е. Ф. Будде. Опыт грамматики языка А. С. Пушкина, часть I, от. I-й, ст. 25-27.

**) В Жандровском списке „Горя от ума“ Нат. Дм. говорит: „Все ревматизм г. сенат вице-б. о. л. и.“

Среди других доказательств, возьмем такие слова как: *любезный, пустыня, покой*. Говоря о Кавказе, о Михайловском, о всяком безлюдном месте—поэт называет его *пустыней*. Мы назовем горы Кавказа пустынными, но пустыней уже не назовем.

Уезжая в Михайловское, Пушкин прощается с морем:

В леса, в *пустыни* молчаливы,
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.

Пустыни знойные, края, где ты со мной
Делил души младые впечатления—

Говорит о Кавказе Пушкин Н. Н. Раевскому.

В доме Онегина—
Везде высокие *покои*.
И он, Онегин,
В том *покое* поселился,
Где доревенский сторожил . . . и т. д.

Покой—слово это знаем и мы, но не придаем ему уже прежнего смысла. То же со словом *любезный*.

„Погибну“, Таня говорит:
„Но гибель от него *любезна*“

Как этим словом и Татьяна и автор ее роднятся с далеким прошлым!

Великий творец русского романа, русской поэмы, русской лирики, русской прозы и русского стиха,—по языку своему плоть от плоти XVIII века. Любопытнейшее явление в истории русской речи! Идя за ним, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, вся плеяда писателей 40-х и 60-х годов, отбросили (за редкими исключениями) и арсенал классической мифологии, и обилие славянизмов, и старомодные слова.

Но никто, как Пушкин, не обогащал своего языка старым русским словом (как в „Борисе Годунове“), никто так чутко не внимал языку народному, никто не был так удачлив, как он, в чеканке новых, своеобразных слов. Он был слишком памятливым, чтобы забыть старое, язык Радищева и Фонвизина, но это старое доживает век среди богатых побегов молодой зелени.

Пушкин любил в своих письмах придумывать новые слова, играть их неожиданной остротой. Иногда это такое немудрое изобретение, как *молдованно* и *кюхельбекерно*. (Ему на юге „молдованно и тошно“; „кюхельбекерно мне на чужой стороне“). Иногда это сочетание корней: чтение-бесие, в котором он укоряет брата Льва Сергеевича, читавшего всюду ненапечатанные стихи Пушкина. Также создал Пушкин слово *вольнoлюбивый*, переведя французское *liberal*; „уж это мне цензура! Жаль мне, что слово *вольнoлюбивый* ей не нравится, оно так хорошо выражает нынешнее *liberal*, оно прямо русское, и верно почтенный А. С. Шишков даст ему право гражданства в своем словаре.“ *).

„Погоди. Не *демонстрируй*, Алиодей“, пишет Пушкин Вяземскому. „И он *байроничает*, описывает самого себя“, читаем в письме к Плетневу **). Жуковскому (I, 317):

*) Переписки Пушкина, изд. Им.-Ак. Наук. I, стр. 35.

**) I, 288, I, 314.

„Мудрено мне требовать твоего заступления перед Государем; не хочу *охмелить* тебя в этом пиру“. По этому же способу изобретены глаголы *орогачить* и *осердить*, Пушкин грозился: „орогачу друга“ (I, 389). „Меня огорчили и *осердили*“ (II, 355). „Отец мне ничего про тебя не пишет. А это беспокоит меня, ибо я все-таки его сын, т. е. мнителен и *хандрлив* (каково словечко?)“ (II, 185). „Мы живем во дни *переворотов* или *переобиротов* (как лучше?)“ (II, 216).

Не только в письмах, подобные вольные слова читаем у Пушкина и в стихах. Таков например эпитет *вольнлюбивый*, на который указал Пушкин в своем письме, таков ряд слов, неожиданно сочетающих два корня: *тяжелозвонкий*, *широкошумный*, *противочувствие*:

Таков и был сей властелин:
К *противочувствиям* привычен
В лице и жизни арлекин. *).

И *праздномыслить* было мне отрада.
(В начале жизни).

На берега пустынных волн,
В *широкошумные* дубравы.
(Поэт).

Как будто грома грохотанье.
Тяжелозвонкое скаканье
По потрясенной мостовой.

(Медв. Всадник).

Но, спрашивается, что сильнее в Пушкине: желание дать новое слово или удержать в целости наличный словарь его эпохи и его предшественников. Безусловно, второе. Осознав это, мы еще раз повторяем.—

Для нас Державиним стал Пушкин. Да, Державинское начало, наследие XVIII века, в Пушкине достигло своего высшего развития, чтобы умереть потом и исчезнуть из живого языка. **).

Если вы поставите рядом с Пушкиным такого писателя, как Гоголь, такого, как Державин, то убедитесь в том, что эти последние отнюдь не ставили себе целью блюсти пуше всего общепринятое и до них установленное, как это делал отчасти Пушкин. Такого обилия новообразований, как у Державина, можно искать разве только у Андрея Белого.

Вообще, наши наблюдения над словарями различных писателей позволяют нам сделать такой вывод: есть два рода художников слова—первые—это блюстители установленного уже словаря; таковы: Пушкин, Тургенев, Лермонтов, Толстой, Чехов, Блок; это—классики; вторые—искатели нового слова—таковы: Державин, Гоголь, Лесков, Достоевский, Бальмонт и Белый; это романтики речи.

Возьмем Гоголя. Характерно уже то, что в юношеских письмах его к родителям мы вдруг наталкиваемся на целый ряд новообразований, правда, неуклюжих, но характерных для будущего Гоголя. *Несломаемость*, *несбытодумие*, *непозабывание*, *неотблагодаримые*,—вот какие слова придумывает юный Гоголь. И позже зрелое его творчество носит постоянно следы желанья расцветить его самоцветными камнями неожиданных слов.

Первое место тут занимает слово народное, которое звучит однако, как новое, и даже современный читатель только справкой в словаре уверяется в том, что Гоголь это слово взял готовым, но ждал эффекта, как от нового слова.

Вот пример из Тараса Бульбы.

*) Пушкин, изд. Брокг. и Эфрона, т. III, ст. 64. „Напрасно видишь тут ошибку“.

**) Автором настоящей работы намечен к выполнению Словарь Пушкинского языка, где данные наблюдения углубятся и явятся более обоснованными.

1) Как собака, будет он застрелен на месте и кинут безо всякого погребенья *на поклев* птицам.

2) Подымеешь ли ты хоть один из этих хлебов, если мне будет *несподручно* захватить все?

3) Но Тарас в это время, вырвавшись из засады со своим полком, с криком бросился *на переймы*.

4) А все запорожцы, сколько их ни было, сняли свои шапки и остались с непокрытыми головами, *утупив* очи в землю.

5) И много было других казаков. Все были *хожалые, езжалые*.

6) Снарядились, пустили вперед возы, а сами *пощайковавшись* еще раз с товарищами, пошли вслед за возами; конница чинно без *покрика и посвиста* на лошадей... Глухо отдавалась только конская *топь* да скрип иного колеса.

7) Оглянулись казаки, а уж там сбоку—казак Метелица угощает ляхов, *шеломя* того и другого.

8) *Червонели* уже всюду красные реки; высоко *гатились* мосты из казацких и вражьих тел.

9) И попала в конскую грудь горячая пуля; *вздыбил* бешеный конь.

10) Все положили головы, все *сгибли*, кто положив на самом бою честную голову, кто от *безводья и бесхлебья*.

Есть у Гоголя и такие слова, которые им созданы, и которые так и характеризуют его, как любителя этого нового слова.

Вот прежде всего *слова сложные*:

Зеленкудрые! Они толпятся вместе с полевыми цветами к воздам. (Стр. Месть).

Старые, загорелые, шпрокопечные, *дюженюгие* запорожцы. (Т. Бульба).

Четверо самых старых, *седоусых, седочупрынных* казаков. (Т. Б).

Не мала река Днестр, и много на ней заводьей, речных густых камышей, отмелей и *глубокодонных* мест. (Т. Б).

И как грянула она, а за нею следом три другие, *четырекратно* потрясли глухо-ответную землю. (Т. Б).

Зелеными облаками и неправильными, *трепетнолистными* куполами лежали на небесном горизонте соединенные вершины разросшихся на свободе дерев. (М. Д. глава VI).

... Собравшихся послушать его *тихострунного* треньканья. (М. Д. гл. V).

Соединяется в один *звукосогласный* хор. (М. Д. II том).

... Хотел даже посылать к вам его („Ревизора“), но раздумал, желая сам привезти к вам его прочесть *собственногласно*. (Из письма к Щепкину).

Вторая группа: *глаголы с приставкою. о и об*.

Бегущие толпы... вдруг *омноголюдили* те города, где какая-нибудь была надежда на гарнизон. (Т. Б.).

... Веки, *окраенные* длинными как стрелы ресницами (Т. Б.).

Родился ли ты так медведем, или *омедведила* тебя захолустная жизнь. (М. Д. гл. V).

... Занятиям, *очерствляющим* душу. (Рим).

Не от неудач ли это, которые меня совершенно *обравнодушили* ко всему. (Письмо к матери).

Иностранцы, которые поселились сюда, обжились и вовсе не похожи на иностранцев; а Русские, в свою очередь, *обиностранились* и сделались ни тем, ни другим. (Письма к матери из Петерб.).

Всему виною недостаток сообщения: он *усыпил и обленивил* жителей. (Письмо к Дмитрлеву).

Ради отцовских могил, не сиди над книгами! Чорт возьми, если они не служат теперь для тебя к тому только, чтобы *отемнить* твои мысли. (Письмо к Максимовичу).

Всегда найдут об чем поговорить, поспорить и *образнообразить* свой разговор. (Письмо к матери).

Третья группа: *глаголы с приставкою вы*.

Его поразили это улетучившееся существо, с едва *вызначившимися* формами. (Рим).

В этом только радость может *высветлиться* на моем сердце. (Письмо к матери).

... Кому бы мог *выверить* мышления свои. (Письмо Высоцкому).

Вот еще различные *глаголы*, из созданных Гоголем:

... Возносились и *голубели* прозрачные горы. (Рим).

... Сделал необыкновенно сильный жест рукой, но *утишился*, увидев, что князя давно перед ним не было. (Рим).

Разбесил начальник отделения. (Записки сумасшедшего).

Все так *спестрилось* в моем воображении.

(Письмо к Косяровскому).

Среди *прилагательных и наречий* отметим такие: *шоптно, раздумно, пиришественное, речивый* профессор, *наездные* толпы, *сотеро* раз, „Рим гуляет *напропало*“.

Слова эти, созданные Гоголем, и не вошедшие по сию пору в общий словарь, делают его произведения бесконечно своеобразными и красочными. Свойственное каждому писателю желание сделать речь яркой и разительной—у Гоголя особенно сказывается в тех местах, где он, в одном небольшом куске, подбирает нарочно ядреное русское слово, одно к другому, усиливая его собственным новообразованием. И, в результате, нарочито красочный кусок художественной прозы. Миную многие другие примеры, возьму два отрывка из „Мертвых душ“:

1) Подъезжая к крыльцу, заметил он выглянувшие из окна, почти в одно время, два лица: женское... и мужское—круглое, широкое, как молдаванские тыквы, называемые *горлянками* из которых делают на Руси балалайки, двухструнные легкие балалайки, красу и потеху *ухватливого* двадцатилетнего парня, *мигача ищеголя*, и *подмигивающего и подсвистывающего на белогрудых и белосшейных* девиц, собравшихся послушать его *тихострунного треньканья*. (М. Д. гл. V).

2) Или же, замурив вовсе глаза и приподняв голову кверху, к пространствам небесным, представлял он обонянию вивать запах полей, а слуху поражаться голосами воздушного певчего населения, когда оно отовсюду, с небес и от земли, соединяется в один *звукосогласный* хор, не *переча* друг другу. Во ржи *бьет перепел*, в траве *дергает дергун*, над ним *урчат и чиликают* перелетающие коноплянки, *блеет* поднявшийся на воздух барашек, *трели*т жаворонок, исчезая в свете, и звонами труб отдается *турлыканье* журавлей, строящих в треугольники свои вереницы в небесах высоко... Творец! как еще прекрасен Твой мир в глуши, в деревушке, вдали от подлых больших дорог и городов! (М. Д. II т. гл. I).

Когда вы читаете такое место, вас покоряет музыка слов, и вы даже не в состоянии представить образа, в сущности даже и невозможного: журавли, перепела, дергачи и жаворонки—зараз! Здесь как-то обнажается погоня Гоголя за словом, за музыкой речи, за красочностью языка, которую он находил, с одной стороны, в словаре народном, с другой—в собственном новообразовании. Думается, такое слово, как *омедвидила*, приложенное Гоголем к Собакевичу, никогда не могло быть допущено Пушкиным дальше, как в письмо к приятелю. Какая-то постоянная писательская корректность не позволяла этого Пушкину (изобретал и он свои новые слова, но редко вставлял их в стихи), а Гоголь... Гоголь в этом отношении протягивает руку Северянину и Андрею Белому; у него „голубели“

горы, народ „омногоподил“ города, и что-то „пришественное“ зрелось Андрею Бульбе в битве. Читая Гоголя, чувствуешь, что этот писатель, впитав в себя значение приставки, суффикса, распоряжается ими с полной свободой, перебрасывая их от одного корня к другому. Он чувствует себя как бы постоянно свободным творцом своего слова, он считается лишь с духом языка,—и только.

Нужно заметить, что человеку, желающему говорить „самостоятельно“, творя „свой“ язык, легче всего образовывать сложное слово, давая сближение двух корней, до сих пор ни разу не сложенных вместе. Так поступал Тютчев, так делает Ан. Белый, так переводил Одиссею Жуковский, и первый, кто свободно и неудержимо пользовался этим приемом—это Державин.

Вообще Державин кажется меньше всего заботился о том, что общепринято, и, читая его стихи, не устаешь удивиться „фуруризм“ его языка. И преимущественно—это свобода в образовании новых сложных прилагательных.

Сочножелтые плоды.

Вкусностелые плоды.

Голуб-сизый осетр.

Солнцеожий осетр.

Густокудрявая мрачна ель.

С горы зеленой *дзухолмистой*.

По *желтосмуглым* лицам долу

Струили токи слез из глаз.

Златобисерн е небо.

Кораблегибельный позор.

Лазурны тучи, *краезлаты*.

Листомрачный верх.

Огнезвездный океан.

Огнепернатый плем.

На *огнескачущих* волнах. *)

Впитываясь в этот словарь Державина, перечитывая „Одиссею“ в переводе Жуковского, убеждаешься в том, что есть тысячи слов, сказанных, но неповторенных. Такой новатор, как Карамзин, как-то очень удачно обернулся со своими новообразованиями, и мы даже удивляемся, узнав, что *носильщик* и *влияние* слова Карамзина. Он изобрел такие слова, которые пошли в оборот, и смешались с толпою других слов,—и это отлично, от него мы все стали богаче. Понравилось всем новое слово Северянина *бездарь*, и его теперь слышишь здесь и там, но совсем не плохо и то, что *громскипящий*—так и осталось навсегда единственным творческим словом.

Ты скажешь: ветреная Геба,

Кормя Зевесова орла,

Громокипящий кубок с неба,

Смеясь, на землю пролила.

Отчего не быть слову не повторяемому, однажды изреченным.

Те же составные эпитеты, каких так много у Державина, тоже единичные, находим с избытком у Тютчева.

И *опрометчиво*—безумно

Вдруг на дубраву набежит,

И вся дубрава задрожит.

Широколиственно и шумно. **)

*) См. словарь к стихотвор. Державина, составленный Гротом. Соч. Державина. Изд. Акад. Наук. т. IX. Грот. язык Державина.

**) У Лермонтова было: „Все так же ль манит в летний зной она прохожего в пустыне широколиственной главой.“

Фет повторяет: В широколиственном венке из винограда.

(Вакханка).

Смотри, как облаком живым
Фонтан сияющий клубится

Коснулся высоты заветной
И снова пыльно *огнецветной*
Ниспасть на землю осужден.

На мир таинственный духов
Над этой бездной безымянной,
Покров наброшен *златотканый*
Высокой волею богов.

Такое слово можно и повторить, но на нем будет всегда печать творца, так взял „Громокипящий кубок“ для заголовка целой книги, так повторяет иногда Ан. Белый неотемлимо — пушкинские эпитеты: . . . „Уже осень сходит и пяском спиц, и желтым убором *широкошумных* деревьев“ (Серебр. Голубь).

Бежит он дикий и суровый
И звуков и смятенья полн
На берега пустынных волн
В *широкошумные* дубравы.

Описывая Медного Всадника, Белый со сноскою „Пушкин“, говорит: „По камням понеслось *тяжелозвонкое* поканье через мост: к островам“.

Как образуется новое слово, какие пути проходит оно?

Безусловно, когда то каждое слово было новым, и, не заглядывая в глубь веков, посмотрим на то, что творится у нас перед глазами. Вот например, Достоевский рассказывает интересную историю глагола „стусеваться“.

„В литературе нашей есть слово: „стусеваться“, всеми употребляемое, хоть и не вчера родившееся но довольно недавнее, не более трех десятков лет существующее: *) при Пушкине оно совсем не было известно и не употреблялось никем. Теперь же его можно найти не только у литераторов, у беллетристов, во всех смыслах, с самого шуточного и до серьезнейшего, но можно найти и в научных трактатах, в диссертациях, в философских книгах; всем оно известно, все его понимают, все употребляют. И, однако, во всей России есть только один человек, который знает точное происхождение этого слова, время его изобретения и появления в литературе. Этот человек — я, потому что ввел и употребил это слово в литературе первый раз — я. Появилось это слово в печати, в первый раз, 1-го января 1846 года, в Отечественных записках, в повести моей: „Двойник, приключения господина Голышкина“.

Достоевский рассказывает далее, что повесть его была им читана впервые у Белинского. „Новое словцо не возбудило никакого недоумения в слушателях, напротив всеми было вдруг понято и отмечено. Белинский прервал меня (вспоминает Достоевский) именно с тем, чтобы похвалить выражение“. Среди слушателей были и другие литераторы: Тургенев, Краевский — им тоже словцо понравилось. Когда Достоевский, спустя восемь лет, после ссылки, взялся за чтение новой литературы, ему бросилось в глаза что глагол „стусеваться“ успел уже всюду приобрести права гражданства, в шестидесятих годах он совершенно освоился в литературе.

*) „Дневник писателя“ за 1877 г. История глагола „стусеваться“.

Однако слово это было изобретено не Достоевским, а его однокурсниками, студентами Инженерного училища, которым приходилось много чертить и рисовать. „Все планы чертились и ступеньки вывались тушью и все старались добиться, между прочим, умения хорошо ступевать данную плоскость, с темного на светлое, и на нет: хорошая ступевка придавала рисунку шеголеватость. И вдруг у нас в классе заговорили: „где такой-то?—Э, куда-то ступевался!“

В заключение Достоевский признается, что ему очень льстит то, что он ввел новое слово в русскую речь. „И когда я встречал это слово в печати, то всегда ощущал самое приятное впечатление“.

Конечно, это редкий случай, когда слово родилось и окрепло в литературе при наблюдении и участии определенного лица, которое следило за его судьбой и радовалось его успеху. Громадное количество слов историк языка может отнести лишь к определенной эпохе, сказать, что такие то слова пришли к нам с принятием христианства, такие то в 18 веке, такое то русское слово родилось и умерло в 19 веке („конка“, например).

В нашей речи обилие слов иностранных, пришедших из-за рубежа русской земли. Новая вера вместе с книгой принесла нам обилие греческих слов; *грамота*, *тетрадь*—с греческого, *монах*, *ерей*, *архиерей*, *евангелие*—с греческого. Петровское время в свою очередь заполнило русскую речь „фортециями“, „баталиями“ и „викториями“, также, как и позднейшая образованность 18—19 в. сыпала нам пригоршнями обрусевших французских, немецких и английских существительных и глаголов*)

Но нас более должны занимать слова природного русского происхождения, выраставшие и растущие на родной почве, из родных корней. Особенно интересны слова, появляющиеся на наших глазах; только прислушавшись к ним, мы поймем, что язык—живая природа, отнюдь не мертвая окаменелость; он постоянно течет и меняется, трепещет, питается, вечно умирая и вечно рождаясь.

Теперь уже все привыкли к Бальмонту. Его стихи вошли в хрестоматии, он стал признанным классиком; особенности его языка уже вошли в привычки интеллигентской речи. Все же, сравнивая его стиль с языком будничной беседы, с языком предшественников его, можно уловить то новое, что когда то казалось таким необычным, „декадентским“ чем-то необыкновенно изысканным.

Анненский в „книге отражений“**) посвятил очень интересные страницы языку Бальмонта и указал своевременно в 1906 году что дал нового русской речи этот поэт „Лексическое творчество Бальмонта проявилось в сфере элементов наименее развитых в русском языке, а именно ее абстрактностей. Для этого поэт вывел из окаменелости сингулярных форм целый ряд отвлеченных слов.

Светы, блески, мраки, сумраки, гулы, дымы, сверканья, хохоты, давки, щекотания, прижатыя, упоенья, рассекновения, отпадения, понимания, и даже бесдонности, мимолетности, кошмарности, минутности“ (стр. 204).

„Не знаю не в первый ли раз у Бальмонта встречаются следующие отвлеченные слова: *безбрежность, печальность, —(росистая) пьяность, запредельность, напевность, многозыблемость, кошмарность, безглазость*“.

Но Бальмонт лирически их оправдал. Постигший таинство русской речи, Бальмонт не любит окаменелости сложений, как не любит ее и наш язык. Но за то он до бесконечности множит *зыбкие* сочетания слов, настоящее отражение воспеваемых поэтом минутных и красных влюбленностей.

Нет больше стен, нет сказки жалко-скудной,

И я не змей уродливо-больной,

Я Люцифер небесно-изумрудный“

(Стр. 205).

*) См. Фасмер „Греко-славянские этюды“, изд. Академии Наук, 1909 г. Смирнов „Западное влияние на русский язык в Петровскую эпоху“ (Сборник от. рус. яз. и слов. Ак. Наук, т. 88.) Богородицкий. Общий курс русской грамматики. Казань 911 г. (Глав. 18).

**) И. Ф. Анненский. Книга отражений. СПб. 1906 г.

инженский указывает также на тяготение Бальмонта к частицам *без и не* „Бесблагодность“, например:

Безвыходность горя, безгласность, безбрежность.

В наши дни мы с особенным изумлением останавливаемся перед щедростью Андрея Белого. Возьмем его романы и по ним проследим характер и формы тех слов, которые в них впервые „забытийствовали“. Опять, так же как и у Бальмонта, неожиданная множественность для существительных единственного числа.

„Раскололась и хряснула дверь; треск стремительный, и отлетела от петель меланхолически *тусклости* проливались оттуда дымными разделенными клубами там *пространства* луны начинались—от раздробленной комнаты, с площадки, так что самая чердачная комната открывалась в *неизяснимости*: посредине же дверного порога, из разорванных стен, пропускающих купоросного цвета *пространства*—наклонивши венчанную, позеленевшую голову, простирая тяжелую позеленевшую руку, стояло громадное тело, горящее фосфором.

Это был—Медный гость“.

(Петербург)

„Он—

—Грудогорбая, злая, пестрая, полосатая финтифлюшка: в *редкостях*, в *едкостях*, в *шустростях*, в *юркостях*, востреньким, мертвеньким, дохленьким носиком, колпачишкой и щеткой в руке—раскаряке колотится, что есть мочи, без толку и проку в балаганном углу.“

(„Котик Летаев“).

Ропоты, едкие *сладоности*, топоты, *светлости*, тиховейные *лелеты*, непереносимые *грохоты*—все это нужно Белому что бы выразить неизреченное, некие „невыразимые смыслы“, *невыразимости*, *небывалости* океаны *бредов*.

Следующая группа слов образована сочетанием двух корней; в подавляющем количестве, это опять прилагательные:

Душемутительная дума дымностоканные облака, сон *легколетный*, *легко-светный*, кровавый отсвет.

(«Серебрянный Голубь»)

Многоогневые дома, *полусветная* даль, *меднолазровый* венок Всадника и его *медноглавая* громада, *розовокрасный*, *тяжелый каменный* Михайловский замок *кисейногазовая* фрейлина, *розовогубый* офицер.

(„Петербург“).

На *крутосекущей* черте, *длинноногие* мифы, *темнодонное*; *дымношипный* котел, *быстроливное* ведро, *белотечное* молочко; *снегосыпное* цервево, *шихохолные* берега, горизонт *ясновзорен*, *ясноглазое* небо, *седопенные* дожди.

„*Светлоногий* день идет в ночь; *чернорогая* ночь забодает его“. *Чернорогая* ночь, *рогорогая* чаща, *многогорога* вешалка, *громкорогий* пастух, *крылорогие* тучи.

(„Котик Летаев“).

Роман Андрея Белого „Котик Летаев“ дает материал неисчерпаемый. он богат новообразованиями не только количественно но и качественно; очевидно образование сложного прилагательного дается легче, нежели образования такого же существительного. В этом третьем романе есть такого рода составные существительные, каких нет ни в первом ни во втором:

Полноумие называет Белый осмысленность и мудрость взрослого человека; *желтолистные*—осень; *людолет* времен, *снегопад*, *снегопись* (на окнах), *снегометы*.

В „Записках Чудака“ у Белого назрело несколько существительных с той же приставкой *про*:

„Схватившись за руки, всемо прыгали мы через *продолбины*, трещины ямы“.

„И далеко *прочертни* гор и далекие ясности тучек отлагались здоровьем и стойкостью“.

„На облаке яснились *просветни*!“

„Набежали туманы, их *прокипи* ниспадали.“*)

Третьей группой словообразований будем считать те, в которых слово создано новой неожиданной приставкой, тем, что *перед* **корнем**; новообразование может быть создано просто отсутствием обычной приставки. Знаем глагол *потупиться*, г в „Серебр. Голубе“ читаем, что Евсей „прискорбно *тупится* в угле“.

Но чаще, конечно, наше внимание привлекает неожиданная новая приставка, префикс:

Зазвездные дали, глаза *преангельские*, *предощущение*. „И обоих их, светом светлых, ясностью *оясненных*, охраняла столбра пламенная молитва“. „Деревья *глухо отщипывались*“, „(Серебр. Голубь)“.

Для этой группы словоновшеств наиболее удобны глаголы, и вот в „Петербург“ Белый, как бы поймав прием, дает обилие глаголов с приставкой *про*.

Протуманилась невяская даль; *протемнится* там издали рыба; пиджаком от-
вратительно *прожелтилась* особа, *просинел*, *просерел*, *просверкал*, *прометнул-ся*, *проломился*.

Ясен один определенный прием и одна приставка всех этих глаголов.

Семья слов одного корня может увеличиться при помощи сочетания старого корня с **новым суффиксом**:

„Попадья, задыхаясь, накинута на Дарьяльского, как *свинуха*, защищая от волка свинят“. Сама же она была, как *звериха*“ „*Опивало* он, *обжирало*, да к тому же еще—и вор“. („Серебр. Голубь“).

В „Петербурге“ есть такие слова, как „шумленье“ в (голове), „весомость“, „туманистый“, „поджим сухих губ“, но наибольшего разнообразия и наилучшей чеканки слов достигает Белый в „Котике Летаева“. Вот она эта четвертая категория слов, с новыми суффиксами:

Существительные: *крутики* мокрого снега, *невнятица* слов, *прощупи* прежних бездн, разводить *грустные*, *ощупи*, *молниеносность*, *снежень*, переживаю *типичности*.

Прилагательные образованы, главным образом, сложением корней (см. вторую группу слов); в этой четвертой группе находятся глаголы и наречия.

Глаголы: *алмазится* снег, *омолнилось* все, снова *молнится* ночь, *хрусталеет*. „И *сединется* в ясностях старец“. „Облака там бегут на громах в моем небе духовно—душевности белоходным изливом, а изливы—*ветрятся*, *ветвятся* и *листятся*“.

Наречия, которые мы находим лишь в этой четвертой группе; *тысячекрыло*, *грохотно*, *многогрохотно*, *жсрдисто*. „То серебряный старпчек, в парике, в лепестистом небесном камзоле бежит по аккордам в туфлях, смеясь и плача... мне старинно смешно“.

„Мне все кажется, что я в воздухе, на распластанных крыльях, переливаясь в лазурах (и—струнно; и—струйно)“.

Пятый разряд—образования звукоподражательные; это—глаголы и междометия.

„Клинькает колокольня“, „протарарыкала телега“, „зезенькал звоночек“, „чбрухвул“ дверной блок, и т. д.

На глазах читателя рождаются слова, повторяются; тут же автор экспериментирует, образуя все новые формы: *прощупи*,—*ощупи*; *именины*—*грустины*, *оясненный*—*опрозраченный*, *опивало*—*обжирало*, *грохотно*—*многогрохотно*, *темнодонный*—*бездонный*, *молнилось*—*омолнилось*, *струнно* и *струйно*. Ведь для слова единственный способ быть понятным—ясность корня и сходство с другими словами по тому, что перед корнем или после него. И этого можно достигнуть, сопоставляя слова одного корня: „В водоворотном грохоте слов *темнодонных*, *бездон-*

*) Журнал „Записки Мечтателей“, I, 1919 г. ст. 67 и 71.

ных...“ или же сопоставляя одинаковые формы: „Мне *ветвятся*, мне *лижутся* мысли“—что и делает постоянно Белый“. А, скажите пожалуйста: почему ночью—*недоповесился*; *недообъяснился*—теперь...

Увлекательно следить за тем, как повторяет писатель свое данное им слово в новом смысле, в новой фразе, в новом романе. *Тяжелокаменный* Михайловский замок. („Петербург“).

„Чтоб выразить нужно упорно работать мне над сложением *тяжескокаменных* слов“ („Котик Летаев“).

Невнятица слов вокруг меня“.—„Порхает *невнятица* листьев“. („Котик Летаев“).

„Белолынные, светом стоящие волосы образовали *опзраченный* будто нимбовый круг“... „В *опзраченном* свете там стояла фигурка“. („Петербург“).

„И обоих их, светом светлых, ясностью *оясненных* охраняла столера пламенная молитва“. „Казалось, что некий сон, бывший когда, еще неставший явью, прелестным светом бил в окна, *оясная* затаивающих в угрюмости радость чело-ков этих“. („Серебр. Голубь“).

„Ветвятся“ и „лижутся“ в одном месте облака, в другом мысли.

В некоторых из своих словообразований Белый обязан кое чем Северянину, который переполнил свои поэмы „новотворками“ *): глагол „омолнить“, нац имер, идет от Северянина, и вообще этим видом глаголов с приставками (осветозритель, олазорить, окудесить) щедро наделены его стихи.

Но неужели только гребни волн современности украшены этой пеной словесного творчества. Нет. В необозримом море языка народного, в весенних ручейках детского лепета—езде и всюду живут, рождаются, умирают и снова рождаются слова новые, внятные нашему уху и желанные нам слова.

Наши загадки, пословицы, ради ладу и складу, выходят то и дело из рамок обыденной речи, и является слово, ни разу не слыханное, единичное, необычайное, но все же понятное слово. Вот несколько загадок:

Из куста *шинуля*, за ногу *тянуля*. (Змея).

Едет *скрина*—*скрипулица*, везет *жестоперицу*; курган, курган, пусти почевать: мне не век вековать, одну ночь ночевать (телега, рожь, овин).

Скрипица скрипит, *золотокрылица* лежит: пен чернец пусти почевать (сноповозка, пшеница, овин).

Плотнички *бестопорнички*, срубили горенку *безуголенку* (скрип).

На *тонце*, на деревце животы наши качаются. (колосья).

Бегут *бегунчики*, за ними *катунчики*; несут рогатину, колоть мохнатину (едут по сено).

Ходя ходит, *виса* висит; *виса* пала, *ходя* с'ела (свинья, желудь).

Летел *лютор*, сел на *комотор*, спрашивал у *кохтарки*: где твои *пыхтарки*.—Мои *пыхтарки* в *стрекалом* городе. (Ястреб, наседка, циплята в крапиве).

Четыре *стручихи*, четыре *гремихи*, два *богомол*, один *вихлец* (корова: ноги, рога, хвост).

Четыре *четырки*, две *растопырки*, один *вертун* (тоже).

Пословицы

Хоть не *рыбно*, да *ушно*.

Хорош *хохолок* на *несучке* (коли курица несется).

Сук да *кривулина*, а *яблочко* *сквознина*.

Хорошулька на *водульке*, *дурнышка* на *яичках*.

Свой *глазок* *смотрим*.

Кошка *пустомойка*, гостей *замывала*, никого не *замыла*.

Что *жов*, то *плев* (костлявая рыба).

*) См. статью проф. Врандта «О языке Игоря Северянина» в сборнике «Критика о творчестве Игоря Северянина».

Если некие законы языка, которые улавливаются даже ухом безграмотного человека, даже сознанием трехлетнего ребенка, и по этим законам ребенок, так же как и взрослый, мудрый автор пословиц и загадок, творит, изобретает свои слова. Закон этот—закон аналогии. Если ясен корень, если верно схвачен смысл приставки и суффикса (схвачен из ряда аналогичных по форме и смыслу слов), то на лицо все данные для создания нового слова. Корень—уз, узы, узел; глагольный суффикс *ива*, окончание инфинитива *ать*, приставка *раз*—все самые значимые составные части слов—почему же не быть новому слову *разузливать*. Это детское изобретение, так же, как слова *чересскокнуть*, *черешагнуть*. Ребенок кричит из сада сидящей за решеткой террасы матери: „Мамочка, чересбрось мне совочек“. Он же, по аналогии со словами *ворчун*, *крикун*, говорит про своего ласкового брата—„какой ты ласкун“ *).

К. Чуковский в своей статье „О детском языке“ **)

полной правильности и законности детских словообразований: „Вникните хотя бы к это слово: „стреляло“ (ружье). Ведь, не знает же дитя, что все такие окончания „ало“, „ило“—показывают „орудийность“ предмета. (Шило—это то, чем шьют, опахало, то—чем опахиваются, мыло—то, чем моют и т. д.). И тем не менее, когда ему приходится назвать „то, чем стреляют“, он с изумительным инстинктом выбирают эту форму, и вот получается „стреляло“. Другой ребенок называет тормаз „тормозило“, желая тем показать, что это именно то, чем тормозят. А в структуре нашего взрослого слова „тормаз“—этого указания нет. Третий называет свой букварь „учило“ (тот предмет, которым учат)—и разве это не точнее, чем наше: „учебник“... Ребенок, сказавший про солонку—„солыница“, был нильница“, то вместилище соли—именно „солыница“. Как тонко и здесь он почувствовал сокровенный смысл флексий и суффиксов.“ ***)

И футуристы чувствуют себя неотразимо подчиненными тому же закону аналогии. В „Пощечине общественному вкусу“ Хлебников, исходя из корня *лет* дает ряд слов по аналогии:

Переидетчик—полетчик
меткий—леткий
именины—летины,
бега—лета.

Но среди всех новаторов языка, ребенок, конечно, самый смелый и изобретательный. Язык—для него море возможностей и неожиданностей. Гворчество Маяковского, Северянина и Белого—это только сознательный возврат к празднику детской свободы и изобретательности. И, замечательно то, что в изобретениях своих встречаются народ и дети, дети и поэты,—встречаются в силу законности и жизненности этих изобретений. Чуковский говорит: „Северянина по праву можно назвать поэтом будущего, ибо говорила же трехлетняя Ася, еще не прочитав его поэм: „Околошь мой кожи. —Замолочь этот гвоздик. —Бумага откопалась. —Я вся такая пахлая, я вся такая, духлая. И тот же автор отмечает совпадение детских изобретений с существующими уже словами и со словами народными. Детского изобретения слово „обутребенок, при виде гуляющих на парам маленьких гимназистов восклицает „стадо детиное!“ Вопленица, в причитании вдовы по мужу, говорит тоже.

Стань-послушай, мое солтадушка детиное.
Кругом на-окол желанной своей матушки!
Это ли не чудесно?

Тем же законом аналогии объясняется и то, что к одинаковым изобретениям приходят не только народ и дети, но люди различных эпох и поколений.

*) Статья Ксении Спасской в № 1 „Психология и дети“ за 1917 г.

**) К. Чуковский. Лица и маски. СПб. 1914 г.

***) „Лица и Маски“, стр. 326.

Часто на расстоянии десятилетий и даже столетий встречаем мы одно и то же слово; сказанное когда-то, оно как бы забыто или утрачено, но потом воскресает и кажется новым. Так Блок любит глагол „числить“.

Нет, с постоянством геометра
Я *числю* каждый раз без слов
Мосты, часовню, резкость ветра,
Безлюдность низких островов.

Как будто новое слово. А между тем оно же стоит в сатире Кантэмпра.

К чему звезд течение *числить*.

Слово *сочувственный* сказано было Радищевым и как бы заново изобретено одним из героев Тургенева. „Г-н А. Шелишурин осуждает поэта Брюсова за то, что он употребляет слова *безмерность*, *безбрежность*, но первое известно еще Фон-визину, второе есть у Дельвига! *) (Добавим, что *безбрежность* есть и у Фета).

Иногда изобретения могут быть конечно, неудачными, неприятными для слуха, непонятными, — пусть тогда борется с ними наше ухо и наша грамматика. Так предлагает поправки для некоторых слов Северянина проф. Брандт. Но обычно слово творчество отрицается все целиком, обычно грамматика гонит вон все, что вошло в лексикон позже Пушкина или Тургенева.

Самое основное, что должны мы знать о языке — это, то что он *живет*. Слова рождаются, растут, ролят себе ододобных, дряхлеют и умирают. Повторим эту мысль с хами Горация.

Мы и все наше — дань смерти. И море-ль, сжатое в пристань.
(Подвиг достойный царя!) корабли охраняет от бури,
Или болото бесплодное, некогда годное веслам,
Грады соседние кормит, взрытое тяжелой сохой;
Или река переменит свой бег на удобный и лучший,
Прежде опасный для жатвы; все, что смертное, должно погибнуть.
Неужели честь слов и приятность их — вечно живущи?
Многие падшие вновь возродятся; другие же ныне
Пользуясь честью, падут, лишь потребует властный обычай,
В воле которого все — и законы и правила речи.

Но как трудно усваивается эта мысль, как много находится всегда охотников высмеивать новое слово и травить его изобретателя. Вот один из любопытных примеров такого староверства.

Это автор любопытных записок, племянник поэта Ив. Ив. Дмитриева. Его „Мелочи из запаса моей памяти“ записаны рукой остроумного тонкого наблюдателя жизни, человека дорожащего литературой, чистотой слога и славными традициями прошлого; относятся они к 20—40 годам прошлого столетия. Дмитриев, вспоминая о Карамзине, говорит, как тот поправил ошибку одного журналиста: *кормчиев*, вместо *кормчих*. Он сказал ему: „разве вы напишете: *невчиев*, вместо *невчих*?“ Что сказал бы он (т. е. Карамзин) о нынешних *помимо* и *совпадать*. „Эти слова возмущают Дмитриева, и он новый для него язык 40-х годов называет „арлекинским“ языком. Вот его рассказ о писателе начала века, о Глинке: „Его журнал и его сочинение имели, говоря нынешним арлекинским языком, *большую популярность*, даже чтобы выразиться совсем по нынешнему, скажу: *огромную популярность*, и прибавлю в доказательство: „это факт“. После этого слова как не поверить!“

Старик издевается над словами „факт“, „популярность“, „огромная“ — а мы без них редко теперь обходимся. И в свою очередь он, описывая своего знакомого, говорит, „о *движимости* его физиономии“, про новых писателей он выражается, что они „*самонадежнее* прежних“, этого уже мы принять не можем.

*) Чернышев. Правильность и чистота русской речи. Вып. 2-ой, стр. 7.

Ясное дело, каждое поколение говорит на своем языке; Дмитриева корчит от слов *помимо, совпадать и факт*. А мы отказываемся говорить о *движимости физиономии*.

Издавна бытующие корни слов меняют свои приставки, суффиксы, родовые окончания. Эта текучесть речи присуща современному языку так же, как и языку наших прадедов. Грибоедов и Пушкин писали то *клуб*, то *клуб*, а мы говорили то *зала*, *зал*, *занавес* и *занавесь*, и до сих пор твердо не решили, к какому роду отнести слово *рояль*. Когда после долгого колебания, ухо выберет одну из двух форм, то другая, отпаившая, станет казаться старомодной и странной. Так говорили раньше *облако* и *облак*, *укора*, *укор* и *укоризна*, одна из форм пропала, и наше ухо удивлено, встретив ее в стихах того же Тютчева.

Рекла—и светлый *облак* скрыл
От глаз моих ненасыщенных
Божественны ее черты.

(Державин).

. . . Как исчезает *облак* дыма
На небе тусклом и туманном.

(Тютчев).

Не для него, как *облак* дымной,
Фонтан на воздухе повис.

(Тютчев).

На месяц взглянь; весь день, как *облак* тощий,
Он в небесах едва не изнемог.

(Тютчев).

О, не тревожь меня *укорой* справедливой.

(Тютчев).

Я не хочу пустой *укорой*...
Могилы возмущать покой.

Пушкин. Евг. Он. VI глава 16 (выпущенная) строфа.

У Дали: в *укор* ему говорят, будто он корыстен. Они все в *укор* друг другу делают.*)

Зачастую слово говорится и так и так, наконец останавливаются на одной форме и оставленная становится архаизмом речи.

В одном из своих писем Пушкин назвал Вяземского „милый *entendeur*“, но зачеркнул и поставил русское слово—„добрый *слышатель*“. Хотел ли он создать новое слово или в его сознании было оно равным старому и доселе живому—„слушатель“? Также в свое время колебались между словами *деятель* и *делатель*, Грот рассказывает: „Нынешнее молодое поколение, может быть, и не подозревает, что это слово при появлении своем в 30-х годах было встречено враждебно большинство пишущих, теперь оно слышится беспрестанно, входит в правительственные акты. Но многие из людей пожилых еще предпочитают ему *делатель*, которое сначала многим казалось лучше.“

*) Обилие примеров можно найти в книге Чернышева „Правильность и чистота русской речи“ Петгр. 1915 г. Выпуск 2-ой, § 22.

Это писалось в 1870 году (Сборник II отд. А. П. т. 7 № 7, стр. 22), тогда еще в сознании литературных умов боролись *делатель* и *деятель*, теперь борьба идет уже около тысячи других слов. В той же статье Грот свидетельствует, что недавно введены старые русские слова: *стражник, рознь, строй, лод*; возникли новые с русскими корнями: *научный, проявление, деятель, даровитый, отчетливый, настроение, таорчество, сопоставление, сдержанность, голосование, плоскогорье* (ст. 18). Приведенное Гротом слово *отчетливый* у нас на виду вытесняется словом *четкий*: четкий стиль, жест, стих („четкий“ от слова „читать“ в данных примерах является метафорой); та же новинка 70-х годов *проявление*—в наши дни сменяется *выявлением*; стали говорить „выявилось чувство“, „выявление характера“, введенное в ту же пору *настроение* (любимое слово прошлого десятилетия) в наши дни часто заменяется *самочувствием*. На нашей памяти стали употреблять глагол *распыляться* (распыляться на мелочи, распылять свои мысли); в место „отдел“, стали писать *раздел* (раздел I и II), *самодетельность, себестоимость*, и, наконец, сотни варваризмов, начиная с *контакта и портативности* и кончая *паритетностью и интернационалистом* (раньше говорили „космополит“).

Так идет неустанный рост и развитие словесных форм.

Уточненная мысль наших дней (и новое слово *истонченный*) ищет все новых знаков в достижениях своей крылатой силы. Рвется мысль в высоту—и рождается слово—*звездный* летит в далекую даль—и является, как словесный знак—*запредельный*; уходит в глубины глубин и новое слово—*глубинный*.

Как листья на лесах изменяются вместе с годами,
Прежние ж все облетят; так слова в языке.—Те состарясь,
Гибнут, а новые, вновь нарождаясь, расцветут и окрепнут!

Так писал Гораций в послании к Пизонам.

Мы уже отметили какую роль играет в этом деле развития и роста языка закон аналогии, с одной стороны, с другой личная воля и вкусы отдельных писателей. Иные из них, классики, довольствуются добытым и известным, иные, романтики обогащают речь все новым и новым словесным богатством. Но как бы ни был своеобразен в своих образованиях художник слова, вместе с младенцем, что учится говорить, вместе с воплощенницей, которая и в глазах не видела никакой книги,—художник себя всегда и неизменно вместе с ними подчинен единым законам словообразования: разумению корня и пониманию приставки и суффикса—по аналогии.

Перед нами прошло бесконечное количество словообразований. Наирашиваются выводы.

Самый доступный способ словообразования—сложное слово; при чем это преимущественно прилагательное.

Их десятками можно найти у Державина, Жуковского, Гоголя, Тютчева и Ан. Белого. Сложное существительное—явление более редкое.

Второе место занимают слова, отмеченные неожиданной приставкой.

Оказывается, префикс гораздо подвижнее и податливее суффикса. Если вы берете старое, хотя бы пушкинское, слово, устарелое по приставке, вы легко приемлете его; с легкостью усваивается оно и для понимания и для воспроизведения: таковы—*примолвить, размучен*; таковы бесприставочные глаголы—*мертвить, богатить, долить*. То же и с новыми словами; образовать ряд глаголов с приставкой, раз налаженной, ничего не стоит; Гоголю, далась приставка *о* и *об*, и он образует ряд аналогичных глаголов: *о-многолюдить, об-лепить, от-мнить, об-иностранил*. То же делает и Северянин: *о-лазорить, о-молнить, опер-лить, о-имнить*. Андрею Белому далась в „Петербурге“ приставка *про*, и он пишет *про-теминиться, про-сереть, про-симеть, про-желтиться, про-туманиться*.

Иное дело суффикс: он как-то скрепляет слово тем решительным ударом, который делает его застывшим и ярко оформленным. *Изящность, чувствие*—оргею эти слова устарели?

Оттого, что нас отчуждает от них суффикс: мы привыкли к другому суффиксу: *изящество и чувство* (Говорим: *предчувствие и сочувствие*). Образовать новое слово при помощи суффикса гораздо труднее, нежели при помощи приставки. Подсчитайте, сколько такого рода образований у того же Белого: очень мало.

Зато, раз изобретенное, слово с новым окончанием—разительнее и скорее идет в оборот. У Северянина: *бездарь, промельк, смуть, влажь*. У Белого: *процупи, крутики, грустины, пиджик губ* и т. д. И замечательно: мастерство народных новообразований в пословицах и загадках выявляется именно в том, что они относятся к этой третьей группе,—слов, характерных по окончанию: „плотнички бестопорнички срубили горенку безугленку“, „хорошумна на водулька“. „свой глазок смотрон“. И наконец: новообразования Карамзина тоже по преимуществу сковаши корень с крепким хорошим суффиксом: *промышленность, переворот, потребность, влияние, человечный, трөгательный*.

Итог таков: легче всего слаживать два корня, и это дает по преимуществу *прилагательное*; затем не так трудно оживить корень новой приставкой, и это даст главным образом, *глагол*; (в котором суффикс не играет такой роли) и самое трудное выразить новое *существительное*, ибо оно укреплено преимущественно на суффиксе.

И, наконец, последний вопрос и последний наш вывод.

Зачем нужно было Державину изобретать новые слова, зачем наши футуристы с яростью отстаивали права поэта на словотворчество? Задорная „Пощечина общественному вкусу“, scandalная книжка новой когда-то школы поэтов (издание 1912 года) призывает „бросать Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с парохода современности“. „Общество, говорится в предисловии этой книги, должно чтить права поэтов: 1. На увеличение словаря в его объеме произвольными и производными словами (Словотворчество). 2. На непреодолимую ненависть к существовавшему до них языку“.

Общество, конечно, ответило футуристам свистками, смехом, ненавистью и издевательством. Средний русский интеллигент совершенно не понял и не принял того здорового начала, которое все же было и есть во всем этом литературном скандале. Не понял просто потому, что в гимназии он учил лишь то, что сто лет тому назад Карамзин обогатил русскую речь такими словами, как: *влияние, развитие, достижение, промышленность, носильщик, переворот*, слова самые мирные; все их приняв, восблагодарили великого писателя,—тем дело благополучно кончилось.

Понимание того, что речь развивается беспрестанно, что беспрерывно входят в оборот новые слова, что слова ветшают и отмирают—этого понятия в широкой массе читателя нет. Футуристы объявили, что писатель имеет право обогащать речь произвольными и производными словами. Это еще вопрос, можно ли вводить слова произвольные, заведомо непонятные.

(Бобэбби пелись губы,

Бзэбми пелись взоры)—

но право писателя на слова производные—неоспоримо.

Говорящий, пишущий, слагающий стихи ищет выразительности, ищет образов сильных и новых, пернее, свежих. Вечно восходит и заходит солнце, Вечно люди улыбаются и плачут—обо всем этом можно сказать зализанной фразой,—можно сказать словом юным и трепетным. Вот несколько примеров из Ан. Белого:

„Снег на крыше—глазистый алмазик; присвиснет метелица; и—взлетят снеготеты бело и неяро летят переносными стаями; легколистая снеготпись серебрет на окнах“.

„Продувные, нелистные деревья желтоглазились почками“.
Гроза „Вдруг омолонется все; посереб्रेют глазистые окна; посмотрят, закроются; проговорят перекатные громы“.

„В этот вечер гуляли; блистали нам слякоти; все проглядные дали посинились тучами; некудрые тучи замазались в небе; и—плелало стадо на нас“.

(„Котик Летаев“).

Ярко, звучно и молодо раздается такая речь, будит воображение; выразительно жестикулируют звуки, заставляя нас зорко вглядываться и чутко присматриваться, такая речь, такой язык вынуждает нас совершать какую-то радостную работу ума. Часто поток красноречия, вернее, пусторечия, течет не задевая мельничных колес воображения, не волнуя и не радуя,—приведенные отрывки совсем иного рода.

Снова приходится говорить, что обычно слова наши не более как алгебраические знаки; вставленный в привычные рамки приставки и окончания, корень одряхлел, завял и заглож; в нем нет ни выразительности, ни жестикуляции; он не говорит, а шепчет. „Бездарность“—обычное глухое слово. Северянин обрубил конец слова и сказал „бездарь-выразительно и звучно. Нам примелькалось слово „бесцветный“. А Белый скажет „немо нецветные воды болот“, и новая приставка не, вместо без оживила и обновила слово. „Все осветилось молнией“—„омолнилось все“; новый глагол, соединивший смысл двух слов—звучный и яркий.

„Для того, чтобы вернуть ощущение жизни, почувствовать вещи, для того, чтобы делать камень каменным, существует то, что называется искусством. Целью искусства является дать ощущение вещи, как видение, а не как узнавание, приемом искусства является прием „остранения“ вещей и прием затрудненной формы, увеличивающей трудность и долготу восприятия, так как восприимательный процесс в искусстве самоцелен и должен быть продлен; искусство есть способ пережить деланные вещи, а сделанное в искусстве неважно“.*)

Новое слово родится затем, чтобы обновить и возродить самый мир, снова и снова отделять вою от земли, тьму от света; слившись, свет и мрак дают сумерки, серость, туманность. Творческое могущество, играя новым своим словом, делает тьму темной и свет ярким; звук, смешавшись с безмолвием переходит в неясные шорохи и шуршанья,—художник слова делает звук звонким, отверзает нам уши; и мы слышим тогда, что звук чередуется с тишиной, и радуемся безмолвию тишины, так же как радовались празднику музыки.

З а д а ч и.

№ 13.

Пройдя „Слово о Полку Игореве“, дайте современные образования от старых слов: лено, древо, персты, ристати, шелом, вельми, пороси, боронь, туча, брег, кресити, стол.

Дайте древнюю форму следующих слов: красивый, красный, воин, конь, плен, воспевать, пение соловья, половина, знамя, овраг, пятница, копье, пахарь, печаль, муж, грудь, городская стена, кукушка, тростник.

№ 14.

Из «Повести о Горе—Злочастии».

В следующих словах найти корень и указать более знакомые слова с аналогичными суффиксами и приставками:

*) Сборник по теории поэтического языка, выпуск второй, стр. 7, статья Викт. Шилова.

Изволением Господа Бога и Спаса нашего. Человеческое сердце *несмысленно и неулычиво*. *) И *зселил* их на землю на низкую. Котцову учению *засорчиво*, к своей матери *непокарливо*, и к советному другу *обманчиво*. А се роды пошли *слабы, добры, убожливы*. А прямое сметенне *отринули*. *Безжизнотие* злое, сопоставные *находы*, злую *немерную* наготу и *босоту*. Да не сняли бы с тебя драгих *порт*. Не *доспели* бы тебе *позорства* и стыда великого, и племени *укору* и *пано*су бездельного. Не ходи, чадо, к *костарем* и *корчеленикам*. Не буди *послух* лжесвидетельству. Не *бесчествуй*, чадо, богата и убога. И вся *соби́на* его ограблена. *Ланоточки—отопочки*. Род и племя *отчитаются*. Пир *почестен*. Емлют его люди добрые под руки. Дети *гостинные*. *Кручиниват*, скорбен, *нерадостен*. *Укротила* скудость мой речистый язык. Многие *скорби* *неисцельные*. А белое лицо *унылимо*. Не имей ты *упадки* *вилявые*. Босоты и наготы они *избыли*. Ино зло то горе *излукавилось*. Легота, *беспроторица* великая. Миновался день *недобоем*. *Спамятуй*, молодец, житие свое первое. Запел он хорошую *напевочку*. *Завѣтен* я у своих родителей, что мне быти *белешеньку*.

№ 15.

Указать в сатире Кантемира варваризмы, просторечие и славянский элемент.

№ 16.

Сравнение од Ломоносова и Державина: славянизмы того и другого. Варваризмы Ломоносова. Элемент „забавного русского слога“, в одах Державина.

Выписать из оды „Видение Мурзы“ сложные эпитеты (сапфиросветлыми очами, черноогненна виссова, сребророзовых светлиц и т. д.) Укажите подобные же эпитеты у Тютчева.

№ 17.

Дайте русские слова, взамен данных церковно-славянизмов:

Помощь, плен, лабья, одежда, чуждый, невежда, мощь, текущий, ходящий, стоящий, полунощный, всенощная, ухищряться, испешрить, возбудить, возводить, воскликнуть, восход.

№ 18.

Дайте церковно-славянские слова, вместо русских:

Деревня, ягненок, хотеть есть, правая и левая рука, глаза, лоб, щеки, рот, грудь, палец, бодрствовать, еда, площадь, тяжесть, землетрясение.

№ 19.

Вставьте данные слова в предложения.

Бремя—беремя,
млечный—молочный
страж—сторож,
гласный—голосовой,
главный—головной,
властный—волостной,
страна—сторона,
среда—середина,
храм—хоромы,
ограда—изгородь,
гражданин—горожанин,
заглавие—заголовок,
увлек—уволок.

*) «Неулычивым» называла Пушкина его няня.

№ 20.

Замените современными нижеследующие старинные слова:

Машина, Псиша, вивлиофика, феатр, афенст, прой, Омир, Апполин, Невтон, постиллион, клуб, мрамор, штиль, карактер, швейцары.

Не укажете ли места из произведений XVIII в., где эти слова встречаются? Отметьте, какие звуки и буквы какими теперь заменены.

№ 21.

Что данные слова означали раньше и что значат теперь? Где вы их встречали в их прежнем значении?

Любезный, подлый, гроб, позор, штиль, покой, знатный, прелестный, красный, натура, ласкаться, случай (в случае, случайный), ревновать, человек, люди, жена, вина, пустыня, народность, приклад.

№ 22.

Как произошла перемена данных старых слов на современные нам: философический, соседственный, семейственный, студентский, характеристический, следовательно, действо, содейство, спокойство, изящность, средство, чувствование, ответствовать, дружество.

№ 23.

Каким приемом создал нижеследующие слова Иг. Северянин: ипроничный, незатейный, дамы туалеты, популярить, изыски, обнаглевшая бездарь, укоризные письма.

№ 24.

Отметьте архаизмы речи в монологах Стародума (разговор с Правдиным и с Софьей) и обороты речи народной в сценах с Простаковой и Скотининым.

(Сын случайного отца. Любезный граф. Я ласкаюсь, что батюшка не захочет со мной расстаться. Любочестие, любочестивый человек, Лицеприятие. Тщетно звать врача к больным неисцельно. Кто же остережет человека).

№ 25.

Что составляет своеобразие. Карамзинского стиля—отдельные слова или строй предложения? У кого больше старых слов, у Радищева или у Карамзина? По словарю своему, к кому ближе стоит Карамзин, к XVIII веку или к XIX?

Разберите по составу неологизмы Карамзина:

Предмет, водоем, носильщик, общежитие, промышленность, выпуклый, усовершенствовать, переворот, *) сосредоточить, потребность, влияние, развитие.

№ 26.

прочитать в классе отрывки из романа Ан. Белого «Когик Латаев». **); учащиеся записывают поразившие их слова.

*) Пушкин в одном из писем спрашивает: переворот или переоборот—как лучше?

**) Скифы. Сборник 1-ый и 2-ой, 1917 и 1918 г.

„Солнце блещет слепительно; снег на крыше—глазистый алмазик; присвиснет метелица; и—взлетят снегометы; снегометы бело и недро летят переносными стаями; легкодыстая снегопись серебрет на окнах“.

„Мы—на кухню: пепоты, шумы, шипы, огни, пары, гари; там на кухне стоит, там на кухне бурлит дымношипный котел; и огонь бьет в котел, прободая железную вейку; ломти мягкого мяса малиновеют на столнике; кровоусая кошечка с красным куском в зубах—уже косится; и морковина сочно трется о терку“...

Гроза. „Вдруг околнётся все; посребреют глазастые окна; посмотрят, закроются; проговорят перекатные громы“.

«Тихо движемся в спящие чащи, в листы: за листы; там жердисто, нелисто; схватились колючие поросли рогорогими чащами: двигаюсь—в сонные сумерки, в немо нецветные воды болот».

«В этот вечер гуляли, блистали нам слякоти; все проглядные дали иссинились тучами; некудрые тучи замазались в небе; и шлепало стадо на нас“.

Выяснить способы новообразований: 1) сочетание корней (снегометы) 2) множественное число вместо единств. (слякоти, шипы). 3) отсутствие приставки или новая приставка (проглядные дали, нецветные воды болот), 4) новый суффикс (грохотно).

№ 27.

В ряде нижеследующих словообразований Иг. Северянина наметить какие-либо группы (предложные и беспредложные глаголы, наречия и виды существительных, сложные слова). *)

Взор лил гремющий на престол. Сенокоса твой спелый июль. Подснежный месяц (октябрь). Осветозарь, Олазорь. Дорожка от листвы разузорена. Я завтра напишу угрюмцу твоему. Четверть века центрит Надсон. Уже ночело. Царь погружается в безгрезье. Было повсюду майно. Листвеют клены. Солнце улыбно уходит домой. Обнаглевшая бездарь. Пушисто-снежное узорье. Бирюзовая, теплая влажь. Вальсы бровурит весна. Бежали двое в тлень болот. Снега, снега—как беломорье. Засмеялась жемчужно. Призрачный промельк экспресса. Златолира.

№ 28.

Прочитать в классе приведенные в этой главе пословицы и загадки, выписать новообразования и объяснить, как они созданы (корень, суффиксы аналогичных слов).

№ 29.

Выписать в контексте оригинальные, необычные для нашей речи слова из стихов Клюева, Северянина, из романов Печерского. «В лесах» и «На горах», из рассказов Лескова («Запечатленный ангел», «Час воли Божней». «Очарованный странник»), из «Илиады» Гнедича, из «Одиссеи» Жуковского, из Тютчева, Бальмонта и т. д.

Выписки желательно делать в контексте и сопровождать их справками у Даля.

*) Можно руководствоваться статьей проф. Брандта «О языке Иг. Северянина» но желательно, чтобы учащиеся сами заметили некую закономерность этих образований.

№ 30.

Объясните законом аналогии происхождение следующих детских слов:

самоученый доктор (самоучка),
завязаночка (веревка),
тормозило, стреляло,
сольница, ласкун,
черезбросить, срубить,
обутки и одетки,
ругливый, забивить,
кусастый, преочень,
лошада, Богин,
стадо детиное, обородел.

Попробуйте записать кое-какие словообразования, прислушавшись к речи маленьких детей.

№ 31.

Каким приемом создана новизна данных слов?

И яростью желаний *полнить* вечер.

(Блок).

У ограды монастырской *столбенел*
Зловеще иннок.

(Северянин).

Евсейч „прискорбно *тупился* в угле.“

(Белый).

Перялся серо соловьи.

(Северянин).

„Как скоро мы их домой пригоним,
Сейчас начинаем школить. Ужасно *противляются*.“

(Лесков, Очарован. странник).

„Им только и дело—*особиться*, а до общих забот
и нужды нет“.

(Лесков. „Час воли Божией“.)

№ 32.

Классный анализ словаря и правописания Пушкина по рукописям поэта (Полт. князя Олега Константиновича СПб. 1911 г.)

№ 33.

Преподающий указывает на особенности словаря Пушкина: славянизмы, архаизмы, беспредложные глаголы, особенности склонений и ударений (см. выше, учащиеся выписывают соответственные примеры из „Евгения Онегина“ и других произведений).

№ 34.

Сравнить „Полтаву“ и „Мцыри“ с точки зрения языка; отметить его от славянского элемента.

Сравнить I и II гл. „Тараса Бульба“ в двух редакциях и проследить в каком направлении шла работа Гоголя над языком.*)

Живое русское слово и его суффикс.

Я беру в руки Даля „Толковый словарь живого великорусского языка“. Целых четыре толстых книги, моря и океаны чудесных трепещущих жизнью слов!

И половина этого богатства нам не принадлежит.

Листая Дalia, видишь, как много слов живет в небытии для нас; для интеллигента русского, для книжника, газетного читателя—составился свой особый лексикон, перегруженный иностранщиной и мертвячиной—а те сокровища, что собрал Даль, что собирали Рыбников, Гильфердинг и Барсов—все это предмет незнания или просто любования издали, предмет платонических вздохов. Богат и великолепен русский язык, да нам то в силу „социальных, экономических, политических и культурных условий“, в Дalia заглядывать некогда—так рассуждает член русского образованного общества. Что ж... он пожалуй и прав. И хочется облегчить ему эту работу. И хочется думать, что мысль такого интеллигента, хоть слегка направленная в средней или высшей школе к этому уклону, будет в том же направлении работать всю жизнь. Ведь чего другого, а материала для работы этой, живого русского языка, что звучит по необозримым пространствам необозримой России—нам не занимать стать. Только слушай!

Что же услышишь?

Прежде всего, узнаешь то, что многим иноземным словам русский язык может противопоставить свои, и нам не худо было бы это знать. Почему мы говорим *архитектор*, когда можно говорить *зодчий*? Знаем ли мы, что *горизонт* это *окоем*, что *траур*—это *жалевое* (она ходит в жалевом).

Читая слова левого столбца, закройте рукой правый столбец и проэкзаменуйте себя по русскому языку.

Не знаете—постарайтесь запомнить.

Эхо—	отгулье.
Резонанс—	наголбсок.
Горизонт—	окоем.
Северное сияние—	пазори, сполбхи, **)
Архитектор—	зодчий.
Скульптор—	ваятель.
Экономка—	домоводка.
Дуэль—	поединок.
Флора—	растительность.

*) См. книгу Мандельштама «О характере Гоголевского стиля», Гельсингфорс. 1902 года.

**) Северное сияние есть перевод с немецкого *Nordlicht*. Северяне о северном сиянии выражаются иначе: Отбель по небу. Пазори играют. Лучи светят. Столбы дышат. Багрецы поют. Сполохи бьют, гремят. Столбы наливаются. Лучи мерцают. Скопы рассыпаются.

Оранжерея— теплица.
 Бассейн— водоем.
 Фонтан— водомет (водобой).
 Газон— мурава.
 Фреска— стенопись.
 Стенография— борзопись.
 Канделябры— свечник.
 Портьера— занавес или занавесь.
 Фиолетовый— синеалый.

№ 37.

Дамба— плотина.
 Аллея— прбсадь.
 Шпора— бодец, м. ч. бодцы.
 Стрекала.
 Астролябия— угломер.
 Термометр— тепломер.
 Астроном— звездослов.
 Атеизм— безбожие.
 Папье-маше— битая бумага.
 Брюнет— черноволосый, чернявый.
 Блондин— светловолосый, белявый.
 Дезертир— бежник.
 Биография— житейник, бытейник.
 Библиотека— книгохранилище.
 Лексикон— словарь.
 Форейтер— вершник.

Сравнение первой и второй редакции „Тараса Бульбы“ учит нас, как Гоголь неустанно работал над очищением своего языка от иноземных форм.

В первой редакции были такие слова, как: турнир, фанатики, флегматический, характеристика, натурально, пауза, сконфуженный;—во второй редакции Гоголь или исключает их или заменяет *паузу—молчанием, сконфуженный—смущенный, секрет—мол дело, и т. д.* *) И в „Мертвых душах“ в главе о Собакевиче обращает на себя внимание то, что Гоголь, избегая слова *архитектор* говорит зодчий и вместо *экономки* у него *домоводка*, часто говорил не *лакей*, а *прислужник*. Иностранные слова он употребляет преимущественно в оборотах комического свойства, и всякие *орер, сканпель истоар* звучат лишь в устах дам, напоминающих нам по языку Мольеровских жеманниц.

Ратуя за замену иностранных слов русскими, Даль в „Напутном слове“ к своему словарю говорит:

„Укажите мне пример, где бы, вместо *серьезный*, нельзя было сказать: чинный, степенный, дельный, деловой, внимательный, озабоченный, занятый, думный, думчивый, важный, величавый, строгий, настойчивый, решительный, резкий, сухой, суровый, пасмурный, сумрачный, угрюмый, насупистый, нешуточный, нешутя, по делу, взáбыль, и прочее и проч.“

Слова *ваятель, теплица, водомет*,—вошли в нашу литературную речь, но почему то слабо усвоены языком ходовым.

Высокий барский дом

И сад с разрушенной *теплицей*.

(Лермонтов. Первое января).

*) Мандельштам. О характере Гоголевского стиля. ст 83—85.

Грустен и весел вхожу, *ваятель*, в твою мастерскую.

(Пушкин. Художнику.)

О, пламенной мысли *водомер*,
О, *водомер* непрочный!

(Тютчев. Фонтан.)

И, учась у Пушкина, Гоголя и Лермонтова языку, нам не мешало бы помнить, что все они старались писать и говорить именно русским языком. И достигли этого.

Однако, при замене иностранных слов русскими, нельзя не предвидеть ряда возражений. Первое: если я скажу вместо *эго—отгульс*, то меня не поймет образованный мой собеседник. Пусть не поймет, ответим мы, нужно объяснить, чтобы знал. Так поступает, например Ключевский со словом *окоем*. Он говорит: „Трудно сказать насколько степь „широкая“, „раздольная“, как величает ее песня; своим простором, которому конца краю нет, воспитывала в древнерусском южанине чувство шири и дали, представление о просторном горизонте, *окоеме*, как говорили в старину: во всяком случае не лесная Россия образовала это представление“.

Второе возможное возражение—такого рода. Значительная часть русских слов, взятых взамен иностранных, будут составными: два корня или два слова. *Водомер*, *стенопись*, *синезелый*, *угломер*, *тепломер*. Даль переводит слово *арфа*—*стол*—туда вводит в речь столь сложные образования. Так было со словом *Дали*, *мироколица* (атмосфера). Тяжеловесно, и по тому не привилось. Хотя нужно сказать, что слова иностранные, которые мы собираемся заменять, тоже не просты по своему составу: *стенография* (борзопись), *термометр* (тепломер), *биография* (житийник). Неповоротливость таких слов, как „мироколица“, „мокроступы“, безусловно мешает этим словам быть принятыми в общество других более отшлифованных и четких слов, но в то же время *окоем* может идти так, как идет *водомер*, *водомер* так как идет *искрометный*, *звездослов*—как *богослов*.

Мы отнюдь не можем настаивать на полном изгнании иноземных слов из родного языка, ибо границ между русским, славянским и иноязычным провести в конце концов невозможно, наша цель иная—показать эту возможность и пусть каждый, в пределах достижимого, очищает свою речь от чуждых родному языку при-

Мы не будем также уверять, что все понятия могут иметь равнозначные словесные знаки в книжном и народном языке. И это то, третье возражение, которым нельзя не считаться. Я не всегда скажу вместо *брюнет*—*чернявый*, вместо *аромат*—*дух*, вместо *ассистент*—*подручник*, *пособник*. Ясно, что русское слово, зачастую не будучи издавна слито с каким—либо понятием, будучи наоборот, к нему неожиданно применено, не только не выявит его, а исказит или изменит.

Обращаясь к истории слов, взятых русскими с иностранного, нужно заметить следующее. Некоторые из этих слов, взятые без особой нужды, вымерли. Так, среди заимствований с греческого в старых книгах можно найти слова совершенно невразумительные для человека, незнакомого с греческим языком. „Пришед анагност паде подножию ему“. *Анагност*—чтец. „Акты иже суть стены каменные“. *Акты*—берег моря. „По амболу к коневому торгу идучи“. *Амбол*—улица. *Катарт*—парус. *Азма Азматская*—песнь песней. *) В языке Петровского времени мы найдем тоже обилие слов не вошедших в нашу речь: *аванжировать*—производить в чин, *объятацио*—запирательство, *статура*—рост, *тапта*—вечерняя заря. **).

*) Справки взяты у Срезневского. „Материалы для словаря древне-русского языка“.

**) См. Смирнов „Западное влияние на русский язык в Петровскую эпоху“. Сборник От. рус. яз. и сл. И. А. Н. том 83-ой.

Петру некогда было переводить с итальянского, голландского и немецкого на русский, и его „фортеции“ и „виктории“ очень скоро потом стали „крепостями и „победами“. Щеголихам и петиметрам Екатерининского века не хотелось делать перевода по малоумию (стоит только вспомнить Иванушку из „Бригадира“ Фонвизина), но все их причуды потерпели фиаско. Не привилась часть греческих слов эпохи введения христианства (зачем нам *амбол*, когда у нас есть *улица?*), не привились многие наскоро ввернутые в речь слова Петровского времени, так как им без труда можно было найти русскую пару (статура—рост) и еще меньше привился язык жеманниц Екатерининского времени.

Думается, что эти исторические примеры утвердят нас в надежде, что и из языка Иг. Северянина, столь щедро снабжающего русскую речь иностранщиной (поэза, интима, Амазония, грациоза и т. д.) многое останется лишь принадлежностью его книг, не войдя в живую речь. Жеманство в языке, в речах Мольеровских героинь, Гоголевских дам, Фонвизинской советницы, всегда выражалось в злоупотреблении иностранными словами,—и эти слова предмет нашей насмешки и осуждения. Настоящему русскому писателю, каким хочет быть Северянин, следовало бы бояться того, что потомки назовут его петиметром начала XX века.

Такова первая группа иноязычной семьи, слова—поденки, вошедшие в жизнь на один день, на один год, ради моды и по неосторожности, ради ложного пренебрежения к родной речи.

Вторая группа иностранных слов—очень живучая и почти незаменимая русскими словами. Наше ухо слышит в ней чужую речь, греческую, немецкую, французскую, но наш язык повторяет ее неизбежно и неизменно. Таковы названия месяцев года: *январь, февраль, март* и т. д. Таковы слова церковного круга: *апостол, ангел, антихрист, монах, патриарх, херувим* и т. д. Таковы многие нововведения Петровской эпохи: *автор, академия, глобус, саунтависта, генерал-губернатор, аллея* и прочие.

Многие из этих слов возможно заменить славянскими, январь—*сечень*, февраль—*лютый*, март—*березозол*, апрель—*цветень*, май—*травень*, июнь—*червень*, июль—*липец*, август—*серепень*, сентябрь—*ревун*, октябрь—*листопад*, ноябрь—*грудень*, декабрь—*студень*.

Многие из выражений этого порядка прекрасно переводит Даль; аллея—*просяда*, арфа—*стоячие гусли*, дезертир—*бежник*, шпоры—*бодцы*, стрела—*стрела*. В одной книге XVIII в. реторта названа *кривогорлым горшком*, колба—*прямогорлым*, а дистеллированная вода—*гоченой**) В те же времена минератологию звали *рудословием*, а логику—*умословием*. Даль утверждает, что любое иностранное слово можно заменить русским, но вряд ли это относится именно к данной группе слов. Замена возможна, но почти безнадежна возможность употребления этой замены.

Зато есть третья группа слов, замену которых найти легко, и мы не употребляем этой замены лишь по нерадению. Таковы именно: *водамет* (фонтан), *теплица* (оранжерея), *счетовод* (бухгалтер) *безверие, безбожие* (атеизм), *край* (борг) *престол, жертвенник* алтарь.

Четвертая группа слов заимствованных, хоть и заморского рода, но звучит для уха русским складом. Кто подумает, что *блин, баня, алады, грамота, поганый, лампада, лампа, стул, костер, корабль*—слова пришедшие к нам из-за моря. Их обрусение заставляет нас умерять наш пыл в борьбе с засильем иностранщины, ибо в языке, в корнях его, идущих от санскрита, от праязыка, мы столь же интернациональны, сколь и народны.

Ведь наши христианские имена—пришельцы на русскую землю вместе с греческой верой. И странно было бы нам объявить на них поход и гонение. Отметим только между ними те, которые, быв сначала языческими личными прозвищами, вошли потом в православные святцы. Например в 1642 году была сделана

*) Пробирное искусство, сочиненное Готтлибом Леманом, первое с немецкого СПб. 1872 г.

записи об одном казаке: „Богдан, а имя ему Бог вестъ.“ Богдан, данный Богом, это было прозвище, которое давали подкидышам, ставшее только впоследствии христианским именем. Русского князя Владимира назвали в крещении Василием, Всеволода—Гавриилом, князя Творямира—Иаковом, Изяслава—Михаилом, Милонегу—Петром.

Ясно, что иные из этих имен так и остались языческими—Творимир, Милонег, иные стали христианскими—Владимир, Всеволод. Также остались языческими Купава, Немеяна, Нелюб; Неждан и стали христианскими—Воин, Любим, Богдан.

Одно из лучших доказательств того, как глубоко живая народная речь приняла в себя иноязычную струю греческих и вообще иноязычных имен, можно видеть в следующем: именами личными крестят в народе не только людей, но и предметы, и животных.

Хавронья—свинья (искажено имя Февронья).
Антонов огонь—гангрена.
Антоновка—яблоко
Анютини глазки—цветы
Анка—галка (Костром губ.)
Андрон—шест.
Абрамка—морженок.

Максим—товарный поезд. Вошло это на наших глазах от имени Максима Горького. Сперва говорили про товарный поезд „Максим Горький“.

Макарка—название узкоколейки в Гжатском уезде Смоленской губернии,

Ванька-ленивый—извозчик.
Ванька-встанька—игрушка.
Иван-да Марья—Цветок.
Васька—козел и кот.
Кондрашка—апоплексия.

Кроме того собственные имена наводнили наши пословицы. Ради рифмы бери любое имя, и выходит и ладно и складно, „Тит Тит! иди молотить!“ „Федул губы надул.“ „Заладила сорока Якова, одно про всякого!“

Знаменитая сказка о Ерше Щетинникове артистически играет на именах:

Пришел Ерша
Поставил вершу;
Пришел Богдан,
Ерша Бог дал;
Пришел Вавила
Принял ерша на вила;
Пришел Обросим;
Ерша оземь бросил;
Пришел Петруша,
Ерша разрушил (разрезал);
Пришел Савва,
Вынял с ерша полтора пуда сала;
Пришел Июда,
Расклат ерша на четыре блюда;
Пришла Марина,
Ерша помыла;
Пришла Акулина,
Ерша подварила.—и т. д.

Так прочно, за время с XI века по XVII, христианское, греческое по преимуществу, имя вошло в русскую народную речь. В XI веке оно совсем еще не

прививалось на русской почве; в XVII веке оно еще употребляется рядом с русским личным языческим еще именем. И все таки иноземная стихия взяла верх: Ждан, Рюма, Плещей идут к нам из каких-то писцовых книг, Купава,—из драмы Островского,, Торопка—из оперы „Аскольдова могила“—вообще из книг, а Федосья, Пётр, Макар, Катерина и Федор—это живая народная наличность. Еще в XVIII веке любили сочинять имена Пленира, Прелепа, Столверх, Извед, Болтай. Стародум, и вот подобной книжностью, как бы сочиненностью отдают для современного уха старые исконно—славянские имена, иноземное, наоборот, привилось, разрослось, пустило корни,, вытеснило языческую старину, и стало для нас живым русским словом.

Не греческое имя утверждалось в нашей речи веками. Все явно иноземное, не успевшее обрусеть, привозное, пришлое народным языком вытесняется по мере сил и возможностей.

Латинское *bissexus* народ переделывает в *высокостный* год, производя очевидно его от слов „высокая кость“, *букет*—выговаривается *пукет*, сливаясь очевидно с корнем *пук*, циркуль—*чиркуль*, от слова *чиртать*, прапорщик зовется *прапорщиком*. „Ворона подымается, ворона, опускается“, говорила о барометре одна простая женщина, сливая в своем понятии перемещение естественной вещи на дереве с колебаниями стрелки барометра.

Очень многие фамилии иноземцев пришедших на Русь, обрусели таким же путем. Примеров много в книге Карновича*): „солдаты называли известного некогда по своей храбрости генерала Боетрома—Быстровым, а Паскевича, которого они называли сперва Папкевичем, обрусели в Башкевича.“ Гатрах—Горохов, Кос-фон—Давель—Козодавлев, Венгерц Калаш обратился в России в Калашева, потом в Калачева и Колачева. С невестой Ивана III, Софьей—Палеолог приехал итальянец Ciceri (Чичери)—родоначальник дворян Чичериных, также как родоначальником Кншких был другой спутник той-же Софьи—Палеолог, Кассини. Гамильтона на Руси переделали в Гамантова, потом в Гаматова и наконец окрестили в Хомутова. „Переделана была в Москве и фамилия маркиграфов Мейссенских. В прежние времена Мейссен назывался Миснием, а приехавший в 1425 году один из маркиграфов Миснических обратился в Мышницкого, а потом в Мышенского“. Пил в Питере английский негодяй Голлицей, имел завод над одним из островов Невы и зовется с тех пор тот остров Голодаем (остров Голодай).

Таким образом веками шла и идет борьба с иноземным влиянием в языке, борьба бессознательная простого народа, борьба сознательная людей науки и искусства, путем анализа и художественного творчества. Так вел ее Даль и славнофилы, так вели ее Пушкин, Гоголь, Толстой и Лесков.

Пусть идет навстречу не менее могучий поток, вливающий в русскую жизнь целые реки чужих слов, мы это знаем, мы принимаем их по мере надобности, но должны все время блюсти известную чистоту и народность нашей речи.

Спрашивается, как же вообще хранить чистоту языка и как вести разумную борьбу с иноязычием. Ответ простой; научиться говорить по-русски, именно по-русски, знать слова и обороты родного языка настолько, чтобы слова „интеллигентный“, „конкретный“, „константировать“, „информировать“, „контакт“, „резюмировать“, стали бы ненужными.

Само собой разумеется, слушать живую речь—это первый источник развития нашей речи, читать Толстого, Достоевского, Щедрина, Герцена, Пушкина и Гоголя, изучать их—это второй путь, ими обычно и пользуются. Но есть и третий путь: это именно изучение русского языка, как языка, тот путь и те приемы, которым посвящена данная книга, наши заметки и задачи.

Говоря о сознательном расширении нашего словаря словами живой речи, начнем с синонимов. Синоним по Далю—*однослов*. Мы и будем говорить об однословах.

* Карнович. Родовые прозвания и титулы в России и влияние иноземцев с русскими. СПб. 1886 г.

На великих просторах русской земли многие понятия, особенно житейского обихода, выражаются провинциализмами. Если вязьмич скажет вам *куруха*, вы пожалуй и не поймете, что это наседка, если он скажет о ком-нибудь „запилился“, то это тоже потребует перевода „утонул“; но такие слова, как *кочет*, *трус*, *горлач*, *балка* — полагается понимать каждому русскому человеку.

№ 38.

Беря слова одного ряда, заменяйте их однословами другого ряда.

Петух — кочет.
Белка — векша.
Волк — бирюк.
Заяц — трус, косой.
Кабан — вепрь.
Зубр — тур.
Собака — пес.
Чайка — рыбник.
Сова — сыч.
Филин — пугач.
Коростель — дергач.
Налим —мень.
Паук — мизгирь.

№ 39.

Беря слова одного ряда, заменяйте их однословами другого ряда.

Гиацинт — любавка.
Крушина — волчья ягода.
Говядина — убойна.
Кочан — вилок.
Брюква — бушма. *)
Вязанка — охабка, беремя.
Кринка — горшок, горлач, кувшин.
Ковшик — кореп, корчик, балакирь.
Верша — морда, норот.
Весло — гребло.
Люлька — зыбка.
Кладбище — погост.
Балка — дол, долочик, ложбина, овраг, лог, балчук.
Холм — взволок, изволок, пригорок, бугор.
Бутуз — коротыш, приземок, малыга, пузатик, дутик.
Палка — дубина, батог, батожок, трость, посох, посошок.

Читая Даля, изумляешься насколько богат и находчив его язык; синонимы он сыплет пригоршнями, и тут же зачастую дает *противоположности*:

Мужики дерутся *врасходку*, а бабы *всвалку*.

Драка *забыль* или *потешная*.

Бытчик (кто на лицо), *нетчик* (отсутствующий).

Ты ему стелешь *вдлинь*, а он меряет *впоперек*.

Туземцы, старожилы, первоселы, коренники; —

*) Брюква имеет десятки названий по различным местностям: грухва, цюкуша, баллага, рыганка, синюха, буклуша.

Нахожие, поселенцы, повожилы, повоселы, прибылые, пришлые, наброд.

Барыш—прибыль, польза, выгода, нажива, прибыток, нарост, корысть;—*убыток*, из'ян, наклад, трата, истора, урон.

Человек, владеющий русской речью, должен также обратить внимание на *разнозначимость* многих слов, омонимы. Слово *баба*, например, совмещает в себе обильную семью предметов и понятий:

Баба—женщина, жена, вялый мужчина, каменный, истукан, столб, снаряд для бойки свай, трамбовка, высокий кулич.

Бабка—бабушка, повитуха, знахарка, устарелая пчелиная матка, козлы для подмостков, часть конской ноги под щетинкою, игорная бабка, коренной зуб, наковаленка для отбоя кос, несколько составленных хлебных снопов.

Бабочка—женщина, мотылек.

Беседа—размен чувств и мыслей на словах; письменное слово, поучение, собрание, вечеринка у крестьян, лавка („беседа дорог рыбий зуб“), место под навесом в лодке, место в экипаже для седока и для кучера.

Живой народный язык, красочный язык знатока какого либо промысла, называет многие предметы совершенно не так, как назовет их образованный книжник. Вы скажете про собаку, что у нее хвост; охотник скажет, что у собаки—*правило*, а у волка—*полено*. Лошадник знает все лошадиные масти, тогда как мы безо всякого смысла говорим: *Сивка*, *Бурка*, *Чалый*. Лошадник знает все оттенки бега лошади: алюр, нарысь, грунца, рысца, хлынца, притруска; грунь, хлынь, рысь, развал, плавь, иноходь, перевал, перебой, зайчиком, гопом.

А любители соловьиного пения,—ведь они умеют назвать каждое колено. Даль перечисляет их: бульканье, клыкание, дробь, раскат, пленканье, лешева дудка, кукушкин—перелет, гусачок, юлиная стукотня и проч.

Загляните в область ведения огородника: зелень хлебных растений—*солома*; гороха и фасоли—*китина*; лука и чесноку—*перо*; капусты—*кочан*, *вилок*; зелень корнеплодных (свеклы, брюквы) *ботва*; у картофеля, наконец, *тина*.

Любителью народного языка нужно прислушаться именно к речи таких знатоков своего дела, которых ищи среди плотников, резчиков, собачников, лошади-ников, охотников, огородников, лесопромышленников. И тогда он убедится, что наши слова „штучка“, „история“, которые мы притыкаем ко всему, что не умеем назвать настоящим именем, всегда заменимо правильным словом, выразительным и метким. Словарь Даля, думаю, на половину составлен у какой—нибудь работы, у ремесла, на бесконечных отраслях русской хозяйственной жизни.

Но это же ремесло и хозяйство, обогащая речь хорошим, ядреным словом, побивает нас с другой стороны иностранщиной. Одно дело ремесло, или рукоме-сло, как говорят в народе, другое дело—техника. Если около слова *барка* на-росли десятки русских слов: беляны, гусянки, струги, коломенки, межеумки, ун-женки, белозерки (названия барок по местностям); клетки, городки, лежни, кладн, головники, матица, днище (части барки),—то ведь слово *корабль* обросло сплошь голландскими, немецкими, английскими словами. Как при Петре они введены были к нам заморским боцманом, так и живут до сих пор в специальной речи русского моряка, делая эту речь интернациональной,—что имеет, конечно, свои преимуще-ства. Сюда относятся: *порт*, *гавань*, *адмирал*, *матрос*, *обордамс*, *десант*, *вахта*, *гонтовый*, *гротабрасы*, *грот—брам—зейль*, *грот—вант* и т. д.

Возвращаясь к вопросу обогащения нашей речи источниками народных бо-гатств, укажем следующее. Эти богатства идут двумя потоками: мы узнаем или новый корень или слышим новый суффикс:

„Свекор драчлив, свекровь ворчлива, деверья журливы, невестки мутливы“.

Данный пример народной речи дает нам ряд слов обозначающих отношения родства русским корнем, вместо наших „*belle—soeur*“ и „*beau—frere*“, и затем подчеркивает обильную наличность какого-то качества суффиксом *лив*: *драчлив*,

сорчлив, журлив, мутлив. Я могу выразить одно понятие двумя корнями: *петух* и *почет*. Могу понятию *петух* дать десяток оттенков: *петушок, петька, петун, петушонок, петушишка, петушина, петушица* и т. д. И мы знаем, что именно эта выразительность суффиксов делает народную речь особенно изгибистой в ее смыслах, то ласковой, то бранчливой, то мягкой, то резкой.

Перечитывая Даля от корня к корню, беря эти слова по гнездам, как он их располагает, улавливаешь как раз те обороты, которые почти отсутствуют в нашей городской речи. Отсутствуют даже не отдельные слова, а отсутствуют некоторые приемы словообразований.

Остановимся на прилагательных и наречиях, обозначающих скрытую наличность данного качества. Мы говорим *ломкий, гибкий, гибко*, но подобных словообразований в книжном языке несравненно меньше, чем в народном.

Спи *будко*: слушай чутко. Дерево на воде *будко*: послушно толчку. Будкий сон.

Ходкий. Корабль был *ходкий*, ветер попутный, плыли быстро.

Валкий—шаткий, производящий качку, или подверженный качке. *Валкая* лодка, *валкие* сани. Зимние дороги бывают *валки*. Ни шатко, ни *валко*, ни на сторону.

Варкая печь, в которой скоро варится пища.

Верткий—легко, удобно вертящийся; на *верткой* лодке под парусом не пускайся. На коньке крыши стоять *вертко*, как раз упадешь.

Водкий—о домашних животных, которые приживаются и множатся.

Кидкий—легко кидующийся. *Кидкий* биток, *кидкой* человек.

Ковкий—Золото самый ковкий металл. *Ковкое* железо не хрупко.

Копкий—мягкий, рыхлый, удобный для копки.

Каткий—легко катающийся.

Меткий—*Мёткий* камень, сручный для киданья, *Мёткая* рука, ловко лукающая.

Хваткий—*хваткий* черен ножа, хорошо в руку ложится.

Наша ходовая речь знает такие слова, как: *вдумчивый, вкрадчивый, влюбчивый*—образованные приставкой *в-* и суффиксом *чив*. Эта очень выразительная форма (иногда с приставкой *вз-*) в народном языке имеет жизнь более богатую: *взымчивый* (много берущий, *взымчивый* барин), *взломчивый* (легко ломающийся, *взломчивый* лед), *взманичивый* (соблазнительный), *взметчивый* (вспыльчивый), *взмутчивый*, (склонный к возмущению, *взмутчивый* нрав или народ), *взносчивый* (заносчивый), *влазчивый* (хитрый), *внимчивый* (внимательный). Имеется у Даля также слово *вскидчивый*,—сварливый, задорный и вот это слово встретим мы в „Идиоте“ Достоевского. При чтении это слово останавливает внимание; там применено оно к Настасье Филипповне: „Беспокойна, насмешлива, двуязычна, *вскидчива*.“ Оно понятно без объяснений и необычайно выразительно. Достоевский, на редкость чуткий к народному суффиксу, употребляет тот же суффикс *чив* в очень выразительном, сходном с приведенными, прилагательном *подымчивый* и в существительном *подымчивость*. „Неточка Незванова“: „Я же крепко любила ее, уважала ее гоёку и потому боялась смущать ее *подымчивое* сердце своим любопытством“ — „Теперь было больше нетерпения, больше тоски, более новых бессознательных порывов, более жажды к движению, к *подымчивости*“.

Сходные прилагательные с приставкой *у-* и с суффиксом *чив* или *лив*: *уклончивый, удушливый, уживчивый, усидчивый, услужливый*—они вошли как формы чисто народные. И мы могли бы быть смелее в образовании им подобных. У Даля находим: *угадчивый*—бойкий на отгадку; *увязчивый*, увязчивая собака; *увядчивый* цветок; *урядливый* хозяин; *укосчивый* косец; *уловчивый* (уловка)—увертливый; *уломчивый* камень; *умолчивый* человек—себе на уме; паук *умотчив*, мастер целенать; тугой клубок *умотчивее*—в него больше пойдёт; *умычивый* гусь; молодец *ухватчив* был.

Вспоминается, что Арина Родионовна называла Пушкина неумчивым. Вот настоящая русская его характеристика.

Суффикс *ист* тоже знаком нам в прилагательных: *убористая* печать, *увесистый* кулак, *заливистая* песня, *ушибистая* дорога, *раскидистая* зелень, *забористая* горчица. К этим нашим словам добавим народные выражения: *ужинистая* рожь — много дает снопов при жатве, *уминостые* кулаки, *вземистая* гора, *утробистая* лошадь — сытая, плотная, *нивесистые* брови, *накладистая* торговля — убыточная. Грановский сказал о Бакушине „Полетистая натура“. У Лескова: „видом неуклюж, на подобие верблюда, и *недрист*, как кабан — одна пазука в полтора обхвата“ („запечатленный ангел“).

Переходя к суффиксам имен. существительных, отметим прежде всего выразительность кратких существительных, в русском языке „Какая тишина“ скажет лачник „Экая тишь!“ молвит простолодник. Глубина и *глубь*, близость и *близь*, непослушный и *неслуж*. Еще Пушкин в „Евг. Онегине“ делает соответственную сноску, защищая эти формы. „В журналах осуждали слова: *хлоп*, *молвь*, *тон*, как неудачное нововведение. Слова сии коренные Русские“.

„Вышел Бова из шатра прохладиться и услышал в чистом поле людскую медвь и конский тон“ (Сказки о Бове Королевиче). *Хлоп* употребляется в просторечии вместо *хлопанья*, как *шип* вместо *шипения*.

Он шип дустил по змеиному
(Древне-русские стихотворения).

Не должно мешать свободе нашего богатого и прекрасного языка.

О выразительности этой краткой формы существительного говорят и Даль и Буслаев, останавливается на ней и Потебня „Они, говорит Даль, короче, *убористее*, легче на языке, удобнее применяются по более общему значению своему“.

Буслаев отмечает склонность к краткой форме языка древнерусского и областного просторечия и дает примеры: *привика* (привычка), *нуда* (понука, понуждение), *немога* (невозможенне), *хода* (походка), *жсам*, *жсемь* и *засим* (от жать, жму), *засив*, *засиж*, *засемя*, *жес* (отжевать) *плев* напр. в пословице: что *жес*, то *плев*. *). В той же „Исторической грамматике“ читаем:

„Древнерусский язык и областное просторечие любят имена женск. рода на *ь*. Например в древнерусских памятниках: имена собирательные: *погань* (поганые), *таль* (заложенки), *чадь* (челядницы); в названиях городов: *Чудь* (челядницы), *Сербь* (Сербы) *Черемись*; вообще нарицательные: *дороговь* (дороговизна), *дель* (раздел, раздельное), *лодь* (лодка), *пряль* (откуда в *впряль*), *сыть*; напр. у Кирилла Давид богатырь ругает своего коня обычным выражением: „волчьа *сыть*“, *ярь* (яровой хлеб) и проч. **)

Потебня ставит эту краткость просторечного краткого существительного в зависимость от конкретности мысли в древнем и простонародном языке. „Большою частью большая отвлеченность имен — *ниг*, *тиг* совпадает с их большою длительностью и меньшею определенностью, законченностью; большая конкретность именительн. *з* с их однократностью, которая в отличие, от однократности глагола *н*, не есть непременно мгновенность: таким образом услышать *крик*, *свист*, *шиск*, *звон*, *вой*, *рев*, *зов*, *призыв*, *оклик* — может быть один хотя бы и протяжный, *кричаны*, *вытиг*, — продолжительное“ ***).

Вот два ряда слов.

Тварение — тварь.

Вышина — вышь.

Темпота — темь.

Удальство — удаль.

Леность — лень.

*) Буслаев. Историческая грамматика. § 59.

**) Буслаев. Историческ. грам. § 62.

***). Потебня. Из записок по грамматике. III ч. стр. 120.

Лазейка—Лаз.
Маханье—мах.
Дыхание—дух.
Мигание—миг.
Сгибание—сгиб.
Снятие—с'см.
Прегрешение—грех.
Недомогание—нечочь.
Раннее время—рань.
Клевание—клев.
Плевание—плев.
Жевание—жев.
Склонение—склон.
Ударение—удар.
Скакание—скок.
Летание—лет.
Рычание—рык.
Сдвигание—сдвиг.
Сказание—сказ.
Гудение—гуд.
Синева—сншь, просншь.
Украшения—украсы.
Красота—краса.

Ясно; что для одного стиля мы будем брать слова правого столбца; это будет книга научного характера, медицинская, например, там пойдет речь о дыхании, жевании, сгибании и т. д. Что-то более образное, живое и меткое вберет в свой состав слова левого ряда.

Пословица: *что жев, то плев; русая коса—девичья краса.*

У Пушкина: „Орла послыша тяжкий лет.“ Былина: „Первый скок полтора-ста верст.“ „Вышивая чару единым духом.“

Клюев: „Оттого в глазах моих просншь, что я сын великих озер“.

Замечательно, что среди новообразований современных писателей наиболее распространенные и пришедшие—глаголы (осветозарить, околотить), а наиболее редкие и удачные—это именно краткие существительные:

Популярить *изыски*;

Над ручейками хрустят *хрунь*.

Напевали *смуть* былого.

Брюзовая теплая *влажь*.

Какие *нови* в чарах мал.

Облагодная *бездорь*.

(Северянин).

Прошуни безди

Поджиги суух губ.

(А Белый).

Свежее народное обличье имеют слова с суффиксом *ок* и с приставкой *о*, об, от:

Отопок (лапотки, отопочки), *обносек*, *огарок*, *огрызок*, *оглодок*, *ошметок* (отопок), *очисток*, *очесок*, *охлопок* (клок пакли, пеньки или льну), *отбросок*, *отруб*, *обрубок*, *отрезок*, *отрепок*, *отпорок*, *отпилок*, *относок* (обноска), *отпилок* (часть чего-либо, отпилая), *отмосток* (помост для поворота, спуска, с'езда на сторону), *отмоток* (клубочек, отмотанный от большого клубка) *отварок* (гриб), *отводок* (сучок, ветка, пустивший корень), *отсевок* (крупная часть муки, оставшаяся в решете после просеивания), *обсевок* (плешина на поляне, промах севца), *оскребок*, *осёл* (из бруска точат, на оселке правят), *осадок*, *отупок* (округлый холм, шишка;

«У оленя до рогов появляются на лбу опунки»); *опоясок*, *оплеток* (береста, лыки для оплота горшка, бутылки и т. д.), *опенок* (гриб), *опарок* (бывший уже в деле баный веник), *опадок* (плоды павшие сами с дерева), *окруток* (сбрывок, остаток от обвою, от перекрученного и оборванного), *окросек* (вещь испорченная в кройке), *окромок* (кромка, край; краюха хлеба), *окосток* (часть говядины, от ссека и с пертлюгом), *окормок* (чрезмерно откормленный) *окоренок* (лоханочка), *окомок* (засохшее что-либо комом), *оклубок* (остатки клубка), *окоток* (кругляк, окатанная вещь), *окалок* (остаток, обломок от калки, жженья чего-либо), *озенок* (что окружает зенки, радужная зрачковая пленочка; „зрачки черные, озенки карие“); *ожимок* (обжатый ком, жмыхи, избоины); *одонок* (гуща на дие, подонки), *огузок* (задняя часть в говядине), *общинок* (общипанный кусок с естного).

Отметим народную форму существительного с отрицанием *не* под ударением:

Нелюди (нешто мы нелюди?), *недруг*, *немысль* („глупый; он у меня еще не-мысль“), *неслух* („экий ты неслух“; не слушает, не повинуется), *небыль* („Быль, что смола, небыль что вода“), *невзмуть* (не взмученная, хорошо отстоявшаяся жидкость, вода), *невруч* (несручная, несподручная вещь, неловкая. „Тонорпие это невруч такая“). *Неоря* (человек, который не врет никогда), *невстань* (лень, сон, сонливость. „Невстань и девки не красит“). *Невязь* (недостаток связи, крепости—в бревнах, в извести с кирпичем), *негать* (тонкая дорога без гати), *негость* (свой близкий человек к дому), *недокинь* (что недокинуло), *недолось* (лиса недокунь, поймавшая или убитая по первой осени, недоимлая; она серее и не остиста), *недопесь* (летний песен, голубоватый, не дошедший до белого). *Недопись* (недописанное на бумаге), *недосинь* (светлосиний, бледносиний цвет или краска), *недосыть* (кто вечно голоден) *недель* (неразделенное именование), *нежить* (все, что не живет человеком, что живет без души и без плоти, но в виде человека: домовый, полевой, водяной), *некресть*, *негресть*, *некруть* (что-нибудь некрученное, „шелк некруть“), *неличь* (что невзрачно, неказисто „Клячонка неличь, а неистомчивая“), *нерозень* (ровня, во всем сходный с другим. „Братья нерозни, одного от другого не распознаешь“). *Несо-лоц* (кто ест все, неразборчивый в еде), *несымы* (цельное молоко, не снятое), *нетель* (молодая, нетелившаяся корова), *нечет* (нечетный).

Большинство этих слов—областные, северные, ярославские, пермские, подслупанные где-то Далем. Пусть нам не под силу усвоить их и запомнить, но они очень любопытны.

Такие формы, как *старье*, *тряпье*, *дубье*, *бабье*, *мужичье*, со значением собирательности и с оттенком презрения, тоже звучат, как чисто народные, и их чуждается наш книжный язык. *Дурачье*, *гнилье*, *сырье*, *свежье* (свежая рыба), *зверье*, *воронье*, *белье*. *Каменья*, *клячья*, *коренья*, *донья*, *уголья*, *шурья*, *деверья*, *зяття*, *братья*, *дядья* и т. д.

На вопросе о собирательных формах подробно останавливается Чернышев в своем исследовании „Правильность и чистота русской речи“. *) Он отмечает, что в литературном языке наблюдается падение собирательных форм. „Некоторые из них устарели и забываются; новых совсем не создается. В современном употреблении трудно, например, встретить формы:

Холопья, *черепья*, *боровья*, *качанья*, *коробья*, *волдырья*, *пузырья*, *дырья*, *щелья*, *донья*, *помелья*, *силья*, *шилля*, которые когда-то, как видно из прежних авторов и грамматик, были в полном обращении.

Затрудняясь в употреблении собирательных форм, мы стараемся нередко избежать в речи множественного числа от таких слов, как: *дядя*, *сват*, *шурин*, *кнут*, *дно*, *полено*, *шило*, или же заменяем, с той же целью, данные слова другими, подходящими по смыслу. Например, вместо *шурин* говорим: брат жены—братья жены, вместо *дно* корабля—днище, откуда днища кораблей, **)

*) Выпуск 2-ой, части речи, § 2.

**) Там же, ст. III.

Чернышев приводит обильное количество примеров, из которых ясно, что нашими старыми писателями, Крыловым, Пушкиным, эта форма просторечия была усвоена кровно:

И перьем бы твоим постельку их устлать.
Лишь только ключья вверх летят
Бедняжка—нищенский под оконом таскался
(Крылов).

И палочьем гостей к каретам провожают
Наследница после своих дядьев
Неприятели крючьями довольно уже оный притвердили.
Холопья и придут просить денег.
(Фонвизин);

Венчанны гроздем, обнаженным
Бегут вакханки по горам.
Лоскутья сих знамен победных.
Аль поводья не шелковы.

Выхватили из пушек клинья,
(Пушкин)

Как сапожнику не иметь шильев.
Один принес сухую жердь из околицы, изрубил ее на поленья.
Бабы..., не расставаясь с кузовьями ягод, побросались в воду.
(Аксаков).

Деревянного дома, с дырками вместо окон.

А грубые кучера стегали великана кнутьями.
(Достоевский).

Наконец, в том же неиссякаемом словаре Даля находим мы ряд составных народных словообразований, чрезвычайно живописных, образных и свежих.

Краснобархатник—шуточ. дворянин, белоручка.
Красноведрный день.

Красноговорок—присказка, складное пустословие красная.

Краснолицый—красивый.

Пустобай, пустобрех, пустовраль, пустоплет, пустомолья, пустохласт, пустоплюй—враль, лгун.

Пустобайка, пустоговорка—род бессмысленной прибаутки.

Пустогреза—кто умствует, судит или строит зря.

Пустоумничать, пусторазумничать—рассуждать неосновательно.

Пустолобий—бестолковый.

Пустовякать—говорить вздорно.

Пустогляд, пустозева—праздный зевака.

Пустогрыз—кому нечего есть.

Пустолудье—где мало людей.

Кошка пустомойка гостей замывала, никого не замыла.

Утка пустоньра.

Собака пустолайка.

Пустопляс—гусядец.

Пустополах—пустая тревога.

Пусторечье—пустословие.

Пусточасье—досуг.

Водобой, вбдокид—водомет, фонтан.

Водовод—водопровод.

Вод-клев, водоклов—капель.

Водопляс—шуточное прозвище докучливых купальщиков.

Водостой—углубление, где застаивается вода.

Водоход—кто плавает на судах по рекам (в отличие от морехода).

Самогрей, самокишец—самовар.

Самоволька—своевольник, нахал.

Самодар—природная даровитость.

Самодолый мастер—самоучка.

Гусли—самогуды, саночки *самокаточки*, скатерть—*самобранка*.

Самокрутка—девушка, вышедшая замуж украдкой, без воли отца—матери.

Самопись—автопортрет.

Самохот—доброволец.

Одновонный—одинакового запаха.

Одноглыбный лед, в целых кабанах, не мелкий.

Однодверая комната.

Однодумно—заодно, одной думы.

Мы слово в *однодумку* молвим

Мы *однокарманники*, деньги общие.

Однокорытники, выкормленные у одного корыта.

Одноличка—ткань на одно лицо, с изнанкою.

Одномашкою всего не сделаешь.

Схватило вдруг, в *одночасье* помер.

Мало распространены у нас наречия, идущие от творительного падежа.

Торопом, броском, швыркбм, движком, вблом, вблом (легонько, плавно).

Вблом, кричат бурлакам в лямках, когда на переборах нужно тянуть потише.

Летом „Беги летом“! „Ино летом, ино скоком, ино и ползком“, *Кбтом*—

каты. Кати бочку *кбтом*. *Хбдом*—плавно, не дергая.

„Взмолился он, да поздно; *дбхом* его на воротах расстреляли“. (духом—быстро, скоро).

Имея в распоряжении много слов с суффиксами, простолюдин скажет: *бежком, бегужком, бежью*, тогда как мы говорим лишь *бегом*.

Обилием суффиксов ласкательных особенно богат наш язык. Говоря об этом Даль отмечает, что эта ласкательность проникает даже в глаголы: „не надо *плаканьки*“, „*спатаньки*, *питочки* хочешь?“

Уметь образовать уменьшительную форму от наречий—это один из показателей истинной близости к народному языку: *далечко, сбрененько или скоренько, теперечко, давнешонько, тошнешонько, туточки, тамочки, поздненько, поздненечко, рядышком бегужком, чуточку, легонечко, нонечко, ноньку*.

В народной причети слышим мы:

Он вставал *раным—ранешенько*,

Умывался он *белешенько*,

Убирался *хорошешонько*.

Приходилось слышать вопрос „асеньки?“ и ответ „ничегошеньки“. У Лескова в „полунощниках“ про слова кухарки: она разговаривала с какою то женщиною и все повторяла: „Ну, так что!... А мне хоть бы что—шеньки“.

То или иное расположение суффиксов примечательно в каждой речи, наличие суффиксов окрашивает человеческое слово, это одна из главных особенностей склада, стиля. Возьмем три вида народного творчества: сказку, былинку, причитание. Наиболее эпичная, спокойная сказка не гонится за суффиксом; при-

читание обильно им изукрашено: больше чувства, больше суффиксов, и былина стоит посреди — она спокойнее причитаний, но героизм и лиризм ее выше чем в сказке.

Сказка это образец простоты, ровного спокойствия. Это тот язык, к которому стремился Пушкин в своей прозе и письмах, которого достиг Толстой — безо всяких украс, без орнамента.

Вот первая страница сказок Афанасьева:

„Жил себе дед да баба. Дед говорит бабе: „Ты, баба пеки пироги, а я поеду за рыбой.“ Наловил рыбы и везет домой целый воз. Вот едет он и видит: лисичка свернулась калачиком и лежит на дороге. Дед слез с воза, подошел к лисичке, а она не ворохнется, лежит себе, как мертвая. „Вот будет подарок жене“, сказал дед, взял лисичку и положил на воз, а сам пошел вперед. А лисичка улучила время и стала выбрасывать полегоньку из воза, все по рыбе да по рыбе, все по рыбе да по рыбе“.

Кажется, что это тот язык, которым мы, если и не говорим, то должны были бы говорить. Оставив в стороне строение фразы,^{*)} даже в составе слов мы лишь при большом внимании выделили следующие: *лисичка, калачиком, не ворохнется, улучила, полегоньку*.

Но стоит лишь открыть страничку в сборнике причитаний, как сразу же мы попадем на такой склад речи, который принимаем, как нечто для нас недостижимое, как образец украшенного, орнаментированного слога.

Мне худа с горя горяше подеватися?
Рассадить — ли мне обиду по темным лесам?
Уже тут моей обидушке не местечко,
Как посохнут все кудравы деревиночки;
Мне рассеять — ли обиду по чистым полям?
Уже тут моей обидушке не местечко,
Задержат да все распахисты полосухи;
Мне спустить ли то обиду во быстру реку?
Загрузить ли мене обиду во озерышке?
Уж тут моей обидушке не местечко,
Заболотеет вода да в быстрой реченьке,
Заволочится травой мало озерышко..**)

Корень обступают со всех сторон префиксы и суффиксы глагол снабжен приставкой и часто двумя приставками; существительное суффиксом, и преимущественно ласкательным. Вот глаголы: *подеватися, посохнут, задержат, загрузить, заболотеет, заволочится*.

И часто эти приставки дwoятся: вопленица любит эти надстройки над корнем; она двoит и трoит самый корень:

Оставляют меня *горюшу горегорькую*.
На веки — то меня да *вековечные*.

Она прилаживает к корню не одну приставку, а две, и это весьма характерно для этого украсочного стиля:

Была счастлива ведь я да все таланная;
Вдруг, знать, счастье суседи *обзавидали*,
Добры людюшки меня да *приоббаяли*,
Черны вороны талан, знать, *приограяли*,
Видно, участь ту собаки *приоблаяли*.

(1 ч. ст. 7.).

^{*)} Вопросы синтаксиса, порядка слов в предложении разобраны будут во втором выпуске нашей работы.

^{**) Барсов. Причитания северного края. ч. I ст. 17.}

Еще пример:

Приходить стане—разливна красна веснушка,
Повытают снежечки со чиста поля,
Повынесе ледочки со синя моря;
Как вода со льдом веда есть да поразойдется,
Быстры реченьки с гор да поразольются.

(I, 6).

Этот многопредложный глагол стоит рядом с ласкательной формой существительного; *людушки, веснушка, ледочки, реченьки*. Иногда обласкано такое понятие, такое слово, к которому наш язык такого подхода совершенно не знает от слова *саван—саватиночки*.

Распахните тонки белы саватиночки.

(I, 28).

щи—щечки:

Как сиротны малы детушки,
Носят платьица обдержечки,
И обуточку—обтопточки,
Едят щечки охлебочки
И кусочки об'едочки.

(I, 47).

мхи—мшишечки:

Не таланна, видно, светлая ты светлушка!
Знать, на мшишечках бревнишка были смечены
Знать, худыма топоренками высечены.

(I, 95)

Немочь—*намо жеменьце*
Смерть—*смеретушка*.

Вдруг скопила ю тяжело неможеменьце,
Сустигла злодий—скорая смеретушка,

(I, 115)

Стряпея—*стряпеюшка*,
Ткаха—*ткиюшка*:

У стола была любимая стряпеюшка,
За столом да дорогая была ткиюшка.

(I, 117)

Также и наречие этих причитаний всегда смягчено суффиксом.

Видут витришки севодня *полагошеньку*,
Корабли идут по морю *потихошеньку*.
Пекё солнышко теперь да *жалобнешенько*.

Про себя вошленница говорит, что причитает *умильнешенько*.

К этой умильной речи причитаний приближается красный склад былинны, он тоже обилён суффиксами и также многопредложны его глаголы, хотя и в меньшей степени.

Если мы возьмем образования Северянина и Белого, вообще пополнение русской книжной речи изобретенными, а не подслушанными у народа словами, то мы отметим в них неизбежный оттенок холодности.

Дело в том, что суффикс *ость*, который возлюбил Бальмонт (безбрежность, запредельность, напевность), суффикс *ни, ти*, которым пользовался для своих образований Карамзин (развитие, влияние, отношения, отвлечение, общежитие)---

ведут к отвлечению, к идейному; это суффиксы имен существительных отвлеченных, суффиксы повышенной мысли и пониженного чувства. Суффикс ласкательный, имен существительных уменьшительных, суффикс уменьшительных почти недоступен модернистическому языку современных повторов речи. Если кто-либо из писателей, уходя от книжных оборотов, начинает пользоваться богатством народного ласкательного суффикса—то он просто вносит в литературу давно известные в просторечии формы. Таков например язык „Серебряного голубя“, в котором Ан. Белый показал себя отличным знатоком народной речи.

Ближе к народному языку такие образования Северянина, как *узорье* (пушисто—снежное узорье), *цветочье* (брожу я часто по цветочью), *хрунь*, *влажь*, *промельк*,—вообще краткое существительное.

Что же касается глагола, такого как *осветозарить*, *омолнить*, *осоловить* (Северянина), *протуманиться*, *просерсть*, *престмкнуться* (Ан. Белого), то он вполне деленно модернистичен и далек от просторечия.

Среди современных писателей есть один, речь которого воистину народная. Это Николай Клюев. Если читать его без достаточной подготовки, то можно пожалуй подумать, что это один из многих модернистов, оригинальничающий языком писателя. Нет это настоящий крестьянин из Олонецкой губ. *)

Оттого в глазах моих просишь,
Что я сын Великих озер.
Точит сизую киноварь осень,
На родной, беломорский простор.

Это душа искони сродная северной причити: его мать была волееница. Хотя мы и не знаем причитаний матери Н. А. Клюева, но стоит только раскрыть рядом с его стихами причитания знаменитой волееницы той же Олонецкой губернии Ирины Федосовой, чтобы убедиться, что они земляки.

Язык единохарактерный. То что верхоглядом можно принять за личный домысл Клюева, на поверку оказывается олонекским словом. Перед нами образная, духовитая, прекрасная крестьянская речь.

Клюев порой наивно неразборчив в своем провинциализме: ему не приходит в голову, что его могут не понять, и он говорит: *косач* (тетерев), *гой* (кулик), *нимы* (сапоги из шкуры с оленьих ног), *сплох*—конь (северное сияние), *самыч* (коршун),— и, конечно, читатель не знающий северного говора, не имеющий соответственного справочника (хотя бы Даля) Клюева не понимает.

Так делал в свое время Ломоносов; в его ранних одах много северных провинциальных выражений. Но над Ломоносовым смеялись, и он стал вытравлять из „высокого штиля“ народность.

У Клюева невозбранно цветет в его песнях первозданная простота, звучит олонекское наречие. Клюев воспевает, например, слезный плат обронила его мать солдатская:

Проезжал посиделец гостинный,
Потеряжку почел за прибыток—
получил перекупный убыток.

(Мирские Думы, ст.26)

Подчеркнутое слово *потеряжка* есть и в воплях записи Барсова:

Уж мы не думали умом да и разумом,
Что мы потеряем потерешечку,
Потеряшечку да мы бесценную.

(I, 269)**)

*) Книги Клюева: Братские песни, Сосен Перегвозд, Лесные были, Мирские Думы, Медный кит.

Статьи о нем: проф Сякулина, „Вестник Европы“ 1916 г. № 5 „Синифы“ 2-ой сборник, статья Иванова—Разумника и Белого.

**) В одной из былин есть слово *остаеши* (оставленное): „оставлен есть *остаеши* на дороженке“.

В причитаниях северного края есть очень интересное выражение, сходное с нашими *досыта, доволи* (приходилось слышать от крестьян вместо *довольно*) — *до любви*.

И до своей любви, горюшица, наплачешься. (II, 102)

Т. е. досыта:

Я наплакалась горюша до своей любви. (I, 186)

И. у. Клюева:

Уж я высылюся девушкой досыта,
Нагуляюсь красной до любви.

(М. Д. 54.)

В „Лесных былях“ Клюева читаем (ст. 28):

Ой яра кровь орлиная,
Повадка—поступь гульная,
Да чарка злая, винная,
Что песенка *досюльная*,
Не мимо канет—минется.

Досюльная такого слова нет в словаре Даля, но в причитаниях Федосовой есть слово *Досюльщина* и вообще оно в ходу на севере; так старинная олонечкая свадьба издана Лысановым в Петрозаводске под заглавием „Досюльная свадьба“. Досель, досюль, т. е. до сих пор *досюльная*, старинная.

Вот еще стихи Клюева:

На неизвестной стороншке,
Красовита ли гульба?

(Лесные были, ст. 33.)

В причитаниях Олонечского края находим: страховитый, тепловитый, красовитый, садовитый. Рекрут прощается с родной стороной:

И ты усадьба-то прости да красовитая
И вы деревенки простите садовитые

(II, 9.)

У Клюева:

Я куплю тебе гостинец—скатну нить,
Буду *басю* оболоченной водить.

(Мир. Думы ст. 51.)

Про „красу-басу“ читаем у Барсова, (I, 22) и Даль отмечает *баса* *ноболок*, *оболочка*, — одежда, как северные слова.

Часто от этого северного слова веет старинной стародавней.

„Зегзицею неизвестной“ кукует о своей беде Ярославна, и вот стихи Клюева через столетия откликаются ей:

Не кукуй *загозынька* про судьбу мою.

Я—полесник хвойных слов

Из Олонечского бора,

сказал про себя Клюев, и это именно так. Это хвойное свое слово вынес он из родимого леса и отдавал его сперва песням религиозного братства „Братские песни“, посвятил его потом соблазну современной поэзии, „Александру Блоку—Нечайной Радости“ (Сосен перезвон) теперь отдает революции. Но всегда и всюду это слово полно лесным духом. Духом того леса, куда уходит душа для раздумья, для спасения своего: и революцию и войну, и культуру современности—приемлет Клюев через религию, и в его поэзии слово народного сказителя соче-

тается с речью начетчика, с библейским словом. В этом смысл и сила его поэзии.

Для Клюева не хочется никаких влияний: ни Блока ни Белого. Его песни—та же народная устная поэзия, но к счастью записанная самим сказителем. Клюев говорит про себя, что процесс писания стесняет его; в часы творчества ему не нужны перо и бумага, он слагает устно („шепотком“).

Преображение мира, озарение души неугасимым светом, мистика вселенского преображения, когда Дьявол станет овцой послушной, а Лихо черное грачемком за сохой—вот основная тема Клюевской поэзии.

В бесконечности духа бессмертия пир.

И эта мысль горит неугасимо в родном исконно русском сосуде. Любовь его к родине не избытна:

О, родина моя земная, Русь буреприимная!
Ты прими поклон мой вечный, родимая,
Свечу мою, бисер слов любви неподкупной.
Как гора необхватной,
Свежительной и мягкой,
Как хвойные омуты кедрового моря!
Вижу тебя не женой, одетой в солнце,
Не схимницей, возлюбившей гроб и шерохи часов безмолвия,
Но бабой—хозяйкой, домовитой и яснойубой,
С бедрами, как суслон овсяный
С льняным ароматом от одежды...
Тебе только тридцать три года—
Возраст Христов лебядиный,
Возраст чайки озерной
Век березы, полной ярого, сладкого сока!...

В Клюеве можно многого не принять, у него есть стихи определенно слабые, но эту слабость обретает он лишь в отдалении от Великих своих озер.

В обладании русским словом, в любви к родной земле, в поэзии избы и пашни—это сильнейший среди наших современников. Но для понимания среднего читателя—Клюев труден. Иногда он мудрит напрасно, в ущерб ясности образов, внося досадный изъяс в книгу своих стихов (стихотвор. „Медный кит“), иногда он труден именно этой своей народностью. Как не все мы понимаем в былинах и причитаниях, так не все понимаем и у Клюева. Попробуем разобраться в этой его народности.

Образы Клюева—исключительно деревенские: это изба, лес, рыбный промысел, соха и пашня, хлеб и холст. Памяти матери своей создает он „Избяные песни“ (передают, что он их долго говорил своим друзьям, не записывая на бумагу и не отдавая в печать. Впервые они были напечатаны во 2-ом сборнике „Скифы“). Вот образы, которыми живут эти песни: печь—лебедка, пузан—горшок, шаны пар, гречневая гарь, заслон, теплый шесток, низколобая укладка, недо-вязанный чулок, кот—лежебока, вихрастая мочалка, рябка, буренка в хлеву, под-дойник, шербатая кринка. Все это обретает свою жизнь.—

Осиротела печь, заплаканный горшок
С таганом шепчется, что умерла хозяйка.

Живя в своей избе, бродя по родному беломорью, Клюев неизбежно называет все своими именами, а мы слов тех не знаем. И правильнее: не ему учиться нашей речи, а нам его языку.

Еще дитятку Алешеньке
Зыбку с пологом алешеньким,
Чтобы полог был исподом канифас,
На овершьи златоризный чудный Спас,
По закромам были-б рубчаты мохры,

Чтобы чада не будили комары,
Не гусело-б его платице,
В новой горенке на малице.

Оверше—что это значит? От слова *верх*, *противень*, *исподу*, *изнанки*. Про *канифас* Даль говорит, что это устарелое название льняной весьма прочной, по-
лосатой ткани (парусина.) *Гусеть* то же, что бусеть; темнеть, чернеть. *Матица*—
балка, брус поперек избы.

Но в сущности такого перевода требуют лишь очень немногие строки Клю-
ева, в преобладающем об'еме его слов и образов он безусловно понятен, оставаясь
бесконечно самобытным.

Если Клюев говорит *потеряжка*, *красовитый*, *поступь*, *гульная*, *размыкушка*,
гармоника, *прохлада*, *зябел*—разве эти слова не понятны русскому человеку, даже
если он сам и не говорит их? А между тем эту досюльщину слов так же радост-
но встретить в стихах, как новое яркое живое словообразование в современного
издания книжке.

Вот несколько мест из Клюева:

У дородных добрых молодцев—*милачей* и *залихватчиков*,
Перелетных зорких кречетов,
Будут шапки с кистью до уха, опояски соловедские.

(Л. 6. 61).

Я поведаю на гульбище
Праздничанам—*залихватчикам*,
Что мне виделось в озерышке.

(Л. 6. 63).

Покойные солдатские душеньки
Подымаются с поля *убойного*.

До *подкустья* они—малой мошкой,
По *надкустью* же—мглой столбовитою,
В Божьих воздухах синью мерещатся.

(М. Д. 22.)

Скоро девушку в полон заполонит
Во пустыне *тихоозвонный* белый скит.

(Лесные были 5 ст.)

Зарудело—заалело
Камень—тело молодо.

(Л. 6. 9)

Было б друженьке где *волю волевать*,
В сарафане—*разгуляне* пеголять.

(Л. 6. 13)

Муж *повышпилит* булавочки с косы,
Не помилует девической красы

(Л. 6. 13)

Кто проведает—учует
Половодный, вещий сказ,
Тот навеки *зажалкует*,
Не сведет с пучины глаз.

(Медный кит ст. 80).

Он поблек, как щеки ненаглядной
На *протинах* с воином—зазнобой—
Вещий знак, что много дроль пригожих
На Руси без милых *от девочат*

(Мир. думы, ст. 36).

Не нужно смотреть Даля, чтобы понять такие слова, как *протины*, *надгустье*, *волю—волевать*, *залихватчики*, а если и помотришь, то и найдешь, что *жалковать* и *рудеть*—исконные наши глаголы, которых мы, к сожалению, не знаем. *Девочить*—этого слова нет у Даля, но как великоленно оно идет в замену книжного *деествовать*.

Одним из ярких выявлений народности Клюева является его мастерство в употреблении краткого существительного: *бель*, *дремь*, *зыбь*, *темь*, *дух*:

От сутемок до звезд, и от звезд до зари.
Бель бересты, *зыбь* хвой и смолы янтари,
Переключка гагар, вод дремучая *дремь*,
И в избе, как в дупле рудо—пегая *темь*,
От ловушек и шкур лисий таежный *дух*,
За оконцем туман, словно гагачий пух.

(„Избанные песни“).

В приведенном отрывке есть еще одно любопытное слово *сутемки*. Клюев определенно тяготеет к этому старому приставку *су*, идущему еще от юса (ц-слав.) Крестьяне говорят: *сусед*, *сусека*, *суслинок*. И Клюев также говорит:

Недосуг *сутемкам*, им от Бога
Дан наказ Заре кокошник выпить.
У мороза же не гладки лыжи,
Где пройдет, *там* насты на *сутемь*.

Бел плитняк, плитят на могилу,
Опосля на нем—внукам памятку—
Пишут теслами год родительский,
Чертят прозвище и изотчину,
На *суклин* щербят кость Адамову.

Им тогда вести речи вещие,
Когда солнышко *засутемится*

Бабой—хозяйкой, домовитой и яснозубой,
С бедрами, как *суслон* овсяный.
(*Суслон*—бабка из снопов в поле).
А кручинюсь, *сумлюсь* я, друженки,
По земле святорусские матери.
Я Алконостную Россию запрятал в дедовский *сусек*.
(*Сусек*—закром, засек).

Вот образцы удвоенного корня, прием тоже характерный для народной речи.

Бел плитняк плотнят на моггища,
(М. Д. 65)

Чтобы девку не сушила сухота...
(М. Д. 63).

Было б друженьке где волю волевать.
(Л. 6. 13).

Перекличка гагар, вод дремучая дремь.
(Изб. песни).

Скоро девушку в полон заполонит.
(Л. 6. 5).

Накопец стихи Клюева изобилуют эпитетами в той именно форме, которая сродна устной русской поэзии, в форме приложения. В народной сказке „Терем мухи“ муха-горюха, блоха—попрыдуха, вошь—поползуха, волчище—серое хвостинце, мышка—норушка.

Вот этот именно прием до того присущ Клюеву, что примеры идут не от стихов, а от строк; в редкой строке нет подобного эпитета.

Ты, дорога—п.линушка дальняя,
Ярый кремень да супесь горячая,
Отчего ты, дороженька, куришься,
Обымаешься копотью каменной?
Али дождиком ты не умывана,
Не отерта туманом—ширинкою,
Али лапоть с клюкой—непоседой,
Больно колят стоверстную спиннушку?
(М. Д. ст. 10).

Большую нужно иметь Клюеву твердость, чтобы хранить свою стезю среди мподорожья современной литературы; увлекался он и Блоком, давали ему в поучения Игоря Северянина „пудренный том“, но все крепче и крепче сознает он связь свою с родной стихией, связь через язык, через религию, через природу, через родную свою мать.

Хрущатой рядиной покрыли скамью,
На одр положили родители мою.

Так по-русски помнит Клюев смерть своей матери („родитель моя матушка“), и кажется сын сказительницы на всю жизнь всрен этому сплнейшему в жизни влиянию, влияю матеря, влиянию родного края Великих озер. Он говорит о себе по праву,

Что души печи и телеги
В моих колдующих зрачках,
И ледовитый плеск Онеги
В самосожженных стихах
(Медный кит, ст. 87)

Мы здесь столько раз поминали имя Даля; им начата глава, им нужно ее и кончать.

Несколько справок о нем и его словаре.

Даль был по образованию медик, но работал одинаково много и как писатель и как чиновник. Был он в старости в тесной дружбе с министром внутр.

дел гр. Л. А. Перовским и имел громадное влияние на внутреннее управление Россией. Как врач и чиновник, он участвовал в нескольких походах, жила по долгу в западных губерниях, в южных, в восточных, — и всюду заносил на бумагу слышанное им русское слово. Особенно облюбовал он пословицы; они изданы были и отдельно (в 1862 г.), вошли они и в словарь, под теми словами, которые в них главенствуют. Умер Влад. Ив. Даль в 1872 году, только что закончив дело своей жизни; словарь издавался им последние несколько лет при содействии Об-ва Люб. Рос. Слов. Этот труд вышел третьим изданием в 1912 году, под редакцией Бодуэна де Куртене.

Хоть делает об этом словаре свои оговорки русский ученый и литературный мир, но чтит его как святыню. Один остроумец заметил, что ему вполне понятен такой диалог:—

Каково убранство вашей комнаты?—

„Стол, стул, кровать и Даль“.

Даль облегчал последние минуты страданий Пушкина, оставил нам о нем воспоминания; Даль как-то по-своему влиял на любовь Пушкина к родному слову; и не на одного Пушкина; Даль собрал наши пословицы, по капле накопил моря русских слов. Его словарь, его труды и жизнь—изумительны. Русский немец, он принимает перед смертью православие и считает всю жизнь русский язык—родным; перед смертью он молит Бога об одном: „Спустить бы корабль на воду“—закончить издание словаря. И закончил, и нет у нас достаточных слов, чтобы выразить изумление перед грандиозностью этого подвига; технически это то же, что написать и прокорректировать четыре таких романа, как „Война и мир“.

Кто же из русских писателей извлек наибольшую пользу из „Толкового словаря живого великорусского языка“ Владимира Даля? Прежде всего сам Даль пробовал стать писателем, чтобы использовать для сказки и повести словарные богатства. С этой прикладной стороны он и смотрел на свои литературные труды. „Я задал себе задачу познакомить земляков своих сколько-нибудь с народным языком и говором, которому открывался такой вольный разгул и простор в народной сказке“. Даль так и остается для нас словарником, а не повествователем. Однако от первых сказок Даля был в восторге Пушкин; это было в 1833 году. Под влиянием этих сказок он создал свою „О рыбаке и рыбке“ и подарил ее Далию в рукописи, с надписью „Твоя от твоих! Сказочнику казаку Луганскому, сказочник Александр Пушкин“. *)

О влиянии Даля на Пушкина, Тургенев и других—это особая громадная тема. Мы выделим из нее уголок. Сильнейшее влияние оказал Даль на Мельникова—Печерского. И это было воздействие личное, непосредственное, и воздействие не сказок и повестей Даля, а воздействие его словаря.

Перед изданием словаря, как раз в последний период работы над ним, Даль жил в Нижнем Новгороде. Там же жил и Мельников. Он ежедневно бывал у Даля, и они целые вечера просиживали над *Актами* археографической комиссии, над *Летописями* и *Историями*, отыскивая в них старинные слова и объясняя их остатками сохранившимися по разным закоулкам Русской земли. Также работал Даль в Оренбурге с Ал. Никитичем Дьяковым, инспектором военного училища. „Если будет когда-нибудь словарь, то спасибо вам с покойным Ал. Никитичем“, говорил Даль Мельникову, и высказал эту свою признательность в напутном слове к своему словарю. Автор романов „В лесах“ и „На горах“ справедливо считает В. И. Даля своим учителем и руководителем на поприще русской словесности. **)

*) Мельников. Воспоминания о Дале. Рус. Вестн. 1873 г. № 3.

**) См. Воспоминания Мельникова о Дале.

Однако я не решусь сказать, что в данном случае влияние Даля дало результат наивысшей ценности. Нет. Знаменитые романы Мельникова, наделавшие в свое время столько шума, значительно ниже своей славы. Они любопытны, как яркое выявление этнографической струи, влившейся в русскую словесность, и в значительной мере под влиянием величайшего нашего этнографа, Даля, но сами по себе они так и остаются большими отлично сработанными группами наряженных кукол из этнографического отдела Румянцевского музея—не больше. Им передана прекрасная бытовая речь, но передана не творчески, а по памяти. Сам Мельников ствечал восхвалявшим его творчество современникам, что он похвал этих не заслуживает: это речь его на обеде, данном в его честь: „Чего доброго, пожалуй, я могу возмечтать, что я знаменитый русский писатель. Нет, господа, я только любитель русской словесности. Сегодня обо мне наговорили столько лишнего, приписали мне столько хороших свойств, что, видит Бог, я того не заслуживаю. А о главном-то свойстве моем, выражением которого было все, что ни сделал я в эти тридцать пять лет, никто даже не заикнется. Другие прошли о том молчанием; видно, уж мне самому приходится сказать о нем. Это не будет хвастовством, потому что нельзя хвалиться тем, что досталось без труда, что зависело от природы человека. Бог дал мне память, хорошую память; до сих пор она еще не слабеет. Что ни видишь, что ни слышишь, что ни прочтешь—все помнишь... А на роду было писано довольно таки поездить по матушке по святой Руси. И где-то ни доводилось бывать?... И в лесах, и на горах и в болотах, и в тундрах, и в рудниках, и на крестьянских полатах, и в тесных кельях, и в скитах, и в дворцах, всего и не перечтешь. И где ни был, что ни видел, что ни слышал, все твердо помню. Вдумалось мне писать; ну, думаю, давай писать и стал писать „по памяти, как по грамоте“, как гласит старинное присловье, Вот и все“. *)

То, что в романах Мельникова не было творчества, а работала одна память, сказалось прежде всего на композиции. Слаженности, согласия между отдельными эпизодами и лицами—никакой. Все начинается настолько издалека, так долго и грохотно въезжает каждое отдельное лицо в общую процессию действующих лиц романа, так долго идет укладка его чемоданов и так их много—что каедает ждать и является чувство досады. Память работала, но творческой переработки не было, потому не было гармонии и слиянности. Не писатель, а только любитель русской словесности.

Чиновник, работавший по расколу, Мельников—Печерский набрал вороха сведений по русским обычаям и старине, запомнил обилие русских слов,— к тому же и Даль изострил его слух к этому русскому слову. Но слиться с этим словом органически, вжиться в него—он не сумел.

Он не всегда умеет сделать так, так поставить народное слово в предложении, чтобы оно стало понятным само по себе. А если и сделает, то все время чувствуется эта работа, чтобы читатель понял. И эти слова то и дело сопровождаются сносками, примечаниями.

„В переднем углу, возле пар, стол для обеда, возле него переметная скамья и несколько стульев, т. е. деревянных обрубков“. *Переметная* скамья—не прикрепленная к стене (пояснение автора).

„Воды в той степи мало, иной раз дня два идешь, хотя бы калужину какую встретить“. *Калуга*—топь, болото, лужа, стоячая вода (словарь Даля).

„В летасах, как в мареве является миловидный облик молодой вдовы“ *Летасы*—грезы мечты. (Объяснение автора).

„Петр Степанович и Василий Борисович подали друг другу руки, „позитались“, говоря по старинному“.

„И рад бы полететь, да крылья подшепсны“.

*) Павел Иванович Мельников, Его жизнь и литературная деятельность. Н. Усов а. ст. 270.

Подпешить—сделать птицу певчею посредством обрезки крыльев. (Объяснение автора).

„Заметив, что не жалует он потаковщиков, а любит с умным, знающим встречняком поспорить, охотно пустился с ним в споры“. *Встречник*—противник в споре, иногда враг. (Примечание М. Печерского).

Весь роман „В лесах“ это как бы отличное руководство, которое знакомит нас с старообрядческой Русью, с пережитками язычества, дает картинки в красках, но все-таки это не то, что зовется истинным словесным искусством. Роман местами очень близок к словарю Даля, особенно когда автор говорит о лошкарном промысле, об истории русской шляпы и картуза, о названиях северного края, о народных святцах. Все это в высокой мере любопытно и поучительно, но все это научно, а не художественно.

След за Далем, Печерский проделал громадную этнографическую работу, и вот мы ни на минуту не забываем этой связи романа со словарем, и словарь в подстрочных примечаниях все время сопутствует роману.

Непонятен местами и Клюев, но это оттого, что он не может принять психики читателя, он весь сам по себе, олонекский крестьянин; Мельников не может стать в народном слове понятным потому, что он не в силах принять психики своих героев. Как он их слушал и переводил для себя их слова, так они и остались с этими переводами: перевоплощения его в образы действующих лиц не произошло. Ведь и отношение его к Потапу Максимовичу, Манефе и к другим людям какое-то среднее. Что ему это старообрядчество? Ложь, обман, разврат, местами поэтизированный, но но большей части далекий от исканий души, от истинной веры и правды. Души народной нет—за этим обычаем; за этим словом; за этой этнографией.

Конечно, иначе, бесконечно иначе изображали народ Тургенев, Толстой, Некрасов, Достоевский. Но здесь, в связи со школой Даля, хочется сказать несколько слов о том писателе, который незаслуженно забывался историками русской литературы, по которому нужно отвести более почетное место—это Лесков.

Лескова в литературе и критике иногда бранят беспощадно. Стиль его одному из критиков представляется „прямо позором нашей литературы и нашего языка“. Волюнскому „Сказ о блохе“ кажется набором шутовских выражений—в стиле безобразного юродства. Этот критик обвиняет Лескова в преднамеренном юродстве стиля в угоду толпе. „Обилие шутовских выходок, скоморошества забавного для толпы, но почти невыносимого для любителей чистого искусства“. Это отношение к стилю Лескова приходится наблюдать живым среди читателей. Прочтут, посмеются, а потом пожимают плечами и бросают замечания о том, что в той же „Блохе“ русская речь измолана и исковеркана, что словечек Лескова в обороте живого языка—не было и не будет. Приходится согласиться с Фаресовым; „книжникам, привыкшим к языку привилегированного меньшинства, и совершенным невеждам в области народной и селянской речи, он (стиль Лескова) кажется гадерством, краснобайством, наездничеством в область, якобы безыскусственного и простого русского языка“).

А между тем именно последние годы приходится наблюдать интерес к Лескову, увлечение им. Рассказы Лескова делаются любимыми в лучших интеллигентских семьях, литература воскрешает его слова и образы: одно время выходил журнал новых поэтов с Лесковским заглавием—„Очарованный страшиком“. Происходит перечисление этого писателя из третьестепенных в первоклассные—и уже кажется произошло.

Интерес к Лескову вызван, думается, и содержанием и стилем его вещей. Кто-то назвал его „футуристом“ по языку. Это и верно. И потому в наши дни,

*) А. И. Фаресов. Против течений. Н. С. Лесков. Его жизнь, сочинения, полемика и воспоминания о нем. С.П.В. 1904 г.

в годы усиленного внимания к языку, к слово-творчеству, Лесков овладел умами, как великий мастер речи, как смелый слагатель русских сказаний с определенной отделкой стиля.

В композиции рассказов Лескова (о романах мы говорить не будем) есть одна постоянная особенность. Приступая к повествованию, автор всячески старается сблизить с рук свою повесть какому-то другому рассказчику. «Запечатленного ангела» он слышал где-то на постоялом дворе от рыжевато-чуйки, «Очарованного странника» рассказал на пароходе сам герой рассказа, Иван Саверьянович, «Полуночников» Лесков подслушал в номерах в бессонную ночь, «Воительница» — также рассказ переданный автору одной словоохотливой женщиной. И так без конца. Такое впечатление, что автор не был совсем литератором, а так себе — внимательным путешественником и слушателем: много слышал рассказов на всяких пароходах, постоялых дворах и в гостиницах — и на досуге их между прочим делом записывал.

Однако странно то, что все эти рассказы так увлекательны; уж очень удачно находил Лесков своих рассказчиков. Даже трудно поверить, что вся эта Шахерезада — он сам. Конечно, он многое слышал, именно слышал, на самом деле много поездил он по Руси, но никакая память не возьмет на хранение такого обилия сочной речи, и не случается, наконец, этот постоянный прием повествования через подставного рассказчика. Лесков искал таким способом точку опоры для своего стилистического многообразия.

Особый язык у Акакия Акакиевича, у Иван Ивановича, у городничего и Хлестакова, у свах и купцов Острогожского, у Платона Каратаева — но всякий раз это лишь один из элементов, из которых сплетается роман, рассказ или драма. Весь роман и рассказ ведется литератором — писателем. Лесков делает иначе: он строит всю повесть в определенном стиле, ссылаясь на то, что рассказывает, собственно, не он, а кто-то другой, по большей части рассказчик из простонародья, — совсем не литератор. Этот прием — главный стержень всей писательской работы Лескова. Вот его собственные слова: «Постановка голоса у писателя заключается в умении овладеть голосом и языком своего героя и не сбиваться с аллюра на басы. В себе я старался развить это умение и достиг, кажется, того, что мои священники говорят по-духовному, нигилисты — по-нигилистически, мужики — по-мужичьи, выскочки из них и скоморохи — с вуртасами и т. д. От себя самого, я говорю языком старинных сказок и церковно-народным в чисто литературной речи... Говорят, что меня читать весело».

Это оттого, что все мы, и мой герой, и сам я, имеем свой собственный голос. Он поставлен в каждом из нас правильно или по крайней мере старательно. Когда я пишу, я боюсь сблизиться: поэтому мои мещане говорят по мещански, а пещеляво-картавые аристократы — по своему. Вот эта постановка — дарование в писателе. А разработка его не только дело таланта, но и огромного труда». *)

В том то и дело, что нужны не только талант, впечатления, чужое повествование, но и работа, труд по изучению языка. Такие вещи, как «Скоморох Намфалон», «Левша» не могли писаться сразу набело. Автор говорит про «Скомороха»: «Я над ним много, много работал. Этот язык, как и язык „Стальной блохи“, дается не легко, а очень трудно, и одна любовь к делу может побудить человека взяться за такую мозолистическую работу». **). И еще свидетельство Лескова: «Гора» столько раз переписана, что я счет тому позабыл, и потому это верно, что стиль местами достигает музыки». ***)

Лесков упорно, годами копил сокровища своего языка; и он обогатился, кажется, «все сокровищницы и кладовые русской речи» (слова Меньшикова), и его очень определенно и точно можно назвать преемником Даля.

«Ведь я собирал его, говорит о своем языке Лесков, много лет по словеч-

*) Фаресов, стр. 273—4.

**) Там же, стр. 278.

***) Там же, стр. 280.

кам, по пословицам и отдельным выражениям, схваченным на лету в толпе, на барках, в рекрутском присутствии и в монастырях". *) Тот же путь, которым пришел Даль к его словарю и который привел Лескова к его художественному творчеству. И это было воистину творчество; если автор романа „В лесах“ брал памятью, то автор „Запечатленного ангела“ брал пнем: уменьем перевоплощаться то в начетчика-старообрядца, то в сваху, то в мещанку, то в монаха. Жизненный путь его сталкивал с Мельниковым—Печерским, их интересы к церкви и к старой вере, сближали их, и они были знакомы—оба бывалые, почтенные, по настоящему русские люди. Но один был по преимуществу чиновник, а другой—художник.

Нужно сказать, что большая часть лучших рассказов Лескова ведется языком манерным; это не то, что чисто-русская речь нашей сказки. Но все же Лесков эту вот простую народную речь знал, и умел ею пользоваться, и эта речь лежит в основе всех его произведений. Таким языком, который идет от того, что мы называем школой Дали, написаны „Пустоплясы“, „Маланья—голова баранья“ и прекрасная сказка „Час воли Божией“.

Вот образцы этого языка (Час воли Божией):

И все *готовьем* перед ним выложили,
Привести сюда с *бережью*.

Старая его мамка *чуждянка*, из чужих земель *полоненая*.
Им ведь только и дела— *особиться*, а до общих забот и нужды нет.
От самого малого *встрясу* все они могут рассыпаться.

Король их за то не *скажут*.

Король шел из *опочивальни* королевшиной в свою теплую *мыленку*.
Здесь молчать, когда спрашиваю,—значит *грубительство*.

Мамка, *полонянка*—доулица.

Лгать стыдятся, а *прямить* боятся.

Занесет *пустолайкою*.

Ты лядаший мужик—измигул не *работистый*.

Да иди-ка их слушать, что они *высложат*, какие премудрости.

Отгадать их премудрость может одна чистая *жалостница*.

Верных псов-то добрый народушка и весь век держит на *бескормице*.

Король молвил *этишь*.

До всеобщей *устройки* кто-нибудь пусть потерпит.

А *благородиться* Разлюбяю не для чего: на нем чина большого не кладено.
Все ему *бедства* множатся.

Таким словом простонародного сочного сказа богаты лучшие рассказы Лескова: „Очарованный странник“, „Запечатленный ангел“. Но, кроме того, и тот и другой рассказ уже выступают из общего моря русской речи своеобразного тона волной. Герой „Очарованного странника“, он же повествователь, Иван Саверьянович—богатырь и артист одновременно. Очарованный жизнью, он жадно брал ее дары, впиваясь во все глазами,—в коней, в женщину, в природу,—и потому его речь богата чувствами. Внешне это выявляется и в суффиксах.

Припас я себе крепкую сахарную веревку, у *лакейченка* ее выпросил.

Гляжу, это вот *такохонький*, *махонький*, *махонький* кусочек *сахару*.

Она взмахнула на него *ресничницами*... ей-Богу, вот этакie ресницы, длинные—*предлинные*, черные.

В этой цыганке *пламище* то, я думаю, дымным костром вспыхнуло.

Она это стала слушать и *вещицами* своими черными водить по сухим щекам.

Она—цыганка, которой так вольно и могуче увлекся герой повести, и о которой он именно так и выражается—*ресничница* ее, *вещица*, и чувство ее и его *пламище*.

*) Фарсов, стр. 275

Рассказчик—монах, его странствия привели его в келью, на послушание, на духовный подвиг, и в его речи кое-что звучит монастырем, духовной книгой. Но особенно силен этот элемент духовного величия в «Запечатленном Ангеле». Этот замечательный рассказ прежде всего имеет основу народную. Такие слова, как *заспокоил* (успокоил), *высловил* (вымолвил), *пристигло*, *виноватиться*, *непристыжный*, *стишаешь*,—такие слова идут от богатств чисто-народных. Но в то же время по этой канве идут словесные узоры старообрядца-начетчика:

Лик у него, как сейчас вижу *светло-божественный* и этакий *скоропомощный*. В правой руке крест, в левой *огнепалающий* меч... молишься: „осени“, и сейчас весь *стишаешь*, и в душе станет мир.

Марой был пожилой человек; за семьдесят лет, а Пимен *средовек* и *изящен*; имел волосы курчавые, посредине пробор; брови *кохловатые*, щеки с *подрумяничкой* словом *велияр*!

Вид у нея был какой-то *оттолкнувенный*, даром, что она будто красивою считалась. Высокая, знаете, такая *цыбастая*, тоненькая, как сойга, и *брошеносная*.

Как это диво сталося и кто были оногo *дивозрители*?

Согрешил я, брат Марк, придя с вами в *разнобытие* по вере.

Речь благочестивого повествователя этого сказания о чудотворной иконе полна такими благолепными словами, как *дивозрители*, *второродительница*, *велиотелесен*, *сомудренник*, и *содеятель*.

Рядом с иконописью у Лескова идет лубок. И, думается, никто из наших писателей не дал такого чудесного образца словесного лубка, как Лесков. Его рассказ «Левша» ведется как бы от лица тульского мастера и дает единственный в своем роде образчик этого пестрого, яркого, бойкого стиля. Казак Платов, фигурирующий в этом сказании о стальной блохе, пари, Александр и Николай, тульский мастер Левша—все они точно списаны с лубочных картинок, на которых скачут громадные храбрые генералы перед игрушечным взводом маленьких солдатиков или почесывает в затылке хитрый мужиченко, справивший какую-то наперзку над немцем и отпускающий любопытную смехотворную пословицу. Лубок далек от быта, от реализма, это—подчеркнутая стилизация; при чем предмет стилизации—нечно героическое или сатирическое.

В манере письма на лубочной картинке, в стиле подписи есть что-то книжное, и в то же время опрощенное и упрощенное. Также и в «Левше» Лескова обилие иностранных слов, но переименованных на русский лад. Тема повести, борьба русской сметливости с английским мастерством и с западной культурой, дает простор этой народной этимологии. «Микроскоп» превращается в «мелкоскоп», «фельетон» в «клеветон» и т. д. Повторяю, это один из редких литературных образцов того, что у ученых зовется народной этимологией.

„Англичане кразу стали показывать разные удивления, и пояснять, что к чему у них приноврено для военных обстоятельств: *буреметры* морские, *мерблязьи мантоны* пеших полков, а для конницы смолевые *непромокабли*“.

„У мастеров в их тесной хороминке от безотдышной работы в воздухе такая потная *спираль* сделалась, что непривычному человеку с свежего поветрия и одного раза нельзя было продохнуть“.

„Мастера ему только осмелились сказать за товарища, что как же, мол, вы ото от нас так без *тусамента* увозите? Ему нельзя будет назад следовать“.

„А те лица, которым курьер *нимфозорию* сдал, сию же минуту ее рассмотрели в самый сильный *мелкоскоп* и сейчас же в *публицейские* ведомости описание, чтобы завтра же на общее известие *клеветон* вышел“.

„Подали ему ихнего приготовления горячий *студинг* в огне;—он говорит эго и не знаю, что бы такое можно есть, и вкушать не стал“.

„Всякий работник у них постоянно в сырости, одетис в обрывках, а на каж-

дом способный *тузурный жилет*, обут в толстые *щиглеты* с железными набалдашниками, чтобы ноги пугде ни на что не напороть; работает не с бойлом, а с обучением и имеет себе понятия. Перед каждым на виду висит *долбица умножения*, а под рукою *стирабельная дощечка*: все, что каждый мастер делает — на долбицу, смотрит, и с понятием сверяет“.

Итак мы отметили уже три манеры в языке Лескова: он может быть сказочником, иконописцем, мастером лубка. Но всех его манер и стилей даже и пересчитать невозможно: их столько же, сколько рассказов и рассказчиков. Особенно разнообразен он в том потешном языке, которого коснулась цивилизация, но который сам не овладел еще этой цивилизацией.

Повествовательница в померах „Ажидация“ („Полунощники“) по имени Марья Мартыновна, бойкая, но глупая мещанка, говорит о своем учении: „У меня обаятельная престранная способность: ко всем решительно понятиям развитие очень большое, а к наукам совсем никакой памяти не было. Ко всему память и соображения хорошие, а к ученью нет—долбицу умножения сколько ни долбила, а как, бывало зададут задачу на четыре правила сложения—плюсовать или минусить, или в уме составить, например пять из семи—сколько в отставке?—то я никаких пустяков не могу отвечать“. И вот Марья Мартыновна пересыпает свою повесть книжными словечками в совершенно неожиданных смыслах:

Вдова Маргарита Михайловна Степенева, по ее словам, хоть и богачка, а занималась в *неопределенном наклонении*.

Вот ведь у них—не то, чтобы как следует человек по своему роду или капиталу подходил, или *по наружности личности* правился...

Другая не менее образованная и бывалая женщина, Домна Платоновна („Воптительница“)—та и вовсе сказывала, что какая-то генеральша „хватит по наружности“! Искажение языка! Это верно. Но этот стиль существует, и та же сваха и всяких дел мастерица Домна Платоновна опять-таки шьет эти узоры по канве чисто-русского склада. Ее речь усыпана поговорками и присловиями. Вот ее суждение об одной барыне:

„ — Что это, думаю у них нервы за стервы, и отчего у нас этих нервов нет?

— Прошло так с месяц, смотрю,—смотрю—моя барыня квартиру сняла: «жилецов, говорит, буду пущать».

„Ну, что ж, думаю,—надоело играть косточкой, покатай жевлачок; не умела жить за мужней головой, так поживи за своей: пригонит нужда и к поганой луже, да еще будешь пить да похваливать“.

Одним словом, куда бы ни клонил рассказчик Лесковских сказаний, сказок с сказов, к духовному поучению или к потехе, к иконописи или к лубку—в основе своей он всегда народен. Эта народность языка многолика. В словах Лескова много смелости и нарочитой стилизации; если мы не слышали таких именно слов до Лескова, то он нас не только удивляет своим словом, но и убеждает, что так сказать можно. Кроме того, мы знаем, уже, что он собирал все это годами по крохам, копил пословицы и выражения, ловя их в „толпе, на барках, в рекрутском присутствии и в монастырях“.

Это был великий талант живой русской речи, проведенной сквозь долгую и мудрую школу жизни.

Думается, что начав нашу главу Далем, мы вправе закончить ее Лесковым. Люди одной школы, одного вкуса, вложившие душу свою в русский язык.

З а д а ч и

Сама глава „Живое русское слово и его суффикс“ содержит в себе материал для практических работ с учащимися.

Прodelав задачи, помещенные в начале главы (Эхо—отгулье), можно дать следующее:

№ 40.

Выписав из газеты или ученой статьи ряд иностранных слов, попробуйте заменить их русскими.

№ 41.

Определить оттенки смысла данных слов иноземного и русского происхождения:

Дама—женщина.
Документ—бумага.
Поэт—стихотворец.
Фауна—животные.
Вестибюль—прихожая.
Куафюра—прическа.
Аккуратный—опрятный.
Секрет—тайна.
Аллея—дорожка.
Лакей—слуга.
Монотонный—однотонный.
Дортуар—спальня.
Доктор—врач.
Натура—природа.
Танец—пляска.
Ветеринар—коновал.
Творец—автор.
Амбиция—самолюбие.
Аристократия—дворянство.
Ассимилировать—усвоить.
Афиша—объявление.
Барригада—завал.

№ 42.

Дайте примеры иноземных слов, не поддающихся легкому переводу (в одно—два слова), как например: амфибрахий, амфитеатр, глобус и т. д.

№ 43.

Предлагается перевести на русский язык следующие слова, при чем предлагается для примера перевод Даля:

Абажур—навесец, тенник.
Альманах—месяцеслов, ежегодник, погодник, полетник.
Анализ—разбор, раздробка.
Анекдот—байка, баутка.
Антракт—межуток, межница.
Аванс—задаток.
Автограф—своеручник.
Автоматический—самоподвижный.
Аклиматизировать—отуземить

Акомпанимент—приглас.
Акорд—созвучие.
Актер—лицедей.
Алюр—беж, побегка, лошадь.
Апарат—снаряд.
Аплодировать—рукоплескать.
Априори, апостериори—передним умом—задним умом.
Аранжировать—привести в порядок—урядить.
Аргумент—довод.

№ 44.

Усвойте названия родства в русском языке. Кто такое свекор, свекровь, теща, зять, шурин, деверь, невестка, золовка, сват?

№ 45.

Какие вы знаете народные названия одежды? Мастей лошади? Домашней утвари?

№ 46.

Запишите известные вам провинциализмы.

№ 47.

Поговорите с каким-либо ремесленником, мастером, промышленником (сапожником, столяр, рыбак, трепачка, землекоп)—и запишите его словарь.

№ 48.

Дайте указанные слова со всевозможными суффиксами:

Дитя (дитятко, детеныш, детенок, детка, детище.)

Мать, сын, дочь, рука, нога, глаза, голова, земля, солнце, река, вода, год, род, купец, мужик, барин, дева, год, слово, змей, пир, хлеб, вино, конь, лошадь, седло, сабля, одежда, рубашка, рукав, шапка, шуба, сапоги, день.

Для примера даем суффиксы к слову *баба*.

Баба, бабища, бабежа, бабина, бабница, бабка, бабушка, бабуша, бабушенька, бабуся, бабусенька, бабуня, бабунька, бабуничка, бабунюшка, бабуля, бабулька, бабуленька, бабулечка, бабенка, бабонька, бабука (у казаков), Бабочка, бабенка, бабеночка, бабица.

№ 49.

Проработайте два-три отрывка из былин, разбирая приставки (одна-две приставки) и суффиксы.

№ 50.

Выпишите из причитания наиболее выразительные по суффиксам слова.

№ 51.

Разобранный по суффиксам отрывок причитания, сравните с языком сказки и скажите, в чем разница и чем она объясняется.

№ 52.

Сгруппируйте данные слова по сходству суффиксов и выделите эти иностранные суффиксы.

Суфлер, режиссер, куафюра, жилет, командировать, дренаж, браслет, формировать, вираж, архитектор, авиация, авиатор, туалет, реалист, директор, иллюминация, шахматист.

№ 53.

Выделив в предыдущей задаче иноземные суффиксы дайте свои примеры с употреблением этих суффиксов.

№ 54.

Названия месяцев мы употребляем иноземные. — Но старый русский язык знал свои. В словаре Даля приведены народные и старые названия месяцев года.

Январь — васьильев месяц, перелом зимы (народн); сечень, просинец (стар.)

Февраль — бокогрей, широкие дороги (народн); сечень, лютый (стар.)

Март — пролетье, свистун; березозол, сухой.

Апрель — зайграй-овражки; цветень, березозол.

Май — месяц ай (народн.); мур (Псковск); травень, травный (стар.)

Июнь — голодай ау; червень изок.

Июль — сенозарник, страдник, грозник, макушка лета; червень, липец.

Август — капустник; серпень, зарев.

Сентябрь — осенины, засидки, бабье лето, летопроводец; вресень, ревун, рувень, рюень.

Октябрь — грязник, свадебник, зазимье; паздерник, грудень, листопад.

Ноябрь — братчины; листопад, грудень.

Декабрь — студень, зимник; студень, студеный.

Прочтя предыдущий параграф, попробуйте написать на память названия 12 месяцев года теми выражениями и словами, которые вам показались особенно удачными.

V.

Звукопись

Начальная ступень звукописи — это простое звукоподражание; сначала междометие, потом производный отсюда глагол и существительное „Ж-ж-ж-“, „жужжать“, „жужжание“. Речь имеет наготове множество таких звукоподражаний в виде неизменяемых и изменяемых частей речи: бац, трах, хлоп—хлоп, гав—гав; глаголы: ворковать, верещать, гоготать, гукать, гугвявить, бубнить, барабанишь, грохотать, рычать, бурлить.

Этот готовый запас звукоподражаний настойчиво обогащается новой нашей литературой. В произведениях Чехова мы то и дело находим совершенно неожиданные междометия звукоподражательного значения. В рассказе „Случай из практики“ доктор слышит, как фабричные сторожа отбивают часы: „около одного из корпусов кто-то бил в металлическую доску, бил и тотчас же задерживал звук, так что получались короткие, редкие нечистые звуки, похожие на „дер . . . дер . . . дер . . .“ затем полминуты тишины и у другого корпуса раздались звуки, такие же отрывистые и неприятные, уже более низкие; б-асовые—„дрын . . . црын . . . дрын . . .“, одиннадцать раз Послышалось около третьего корпуса: „жак . . . жак . . . жак . . .“ целая гамма ясно уловимых для читателя звуков. Иногда,

вместо междометия целая звукоподражательная фраза: „какая-то неизвестная мне ночная птица протяжно и ленно произносила в роще длинный членораздельный звук, похожий на фразу: „ты ни—ки—ту видел“ и тотчас же отвечала сама себе:

„Видил! видел! видел!

(„Агафья“)

Очень богат звукоподражаниями язык Андрея Белого. Вот примеры из романа „Серебряный Голубь“:

„И еще и еще *клинькала* в синюю бездну *целебеевская колокольня*“ „И гулко так *протарарыкала* телега запоздалого однодворца.“

(Эти два глагола очень активны в словаре Белого.)

„И почему-то ей *подтенкивал* откуда-то взявшийся треугольник.“

„И опять *зезенькал* звоночек.“

„Как вступила Фекла Матвеевна на бревно, перекинутое через ручей, возмущился ручей *зажужжал* вод щей“)

„Уже за деревьями *тарабарил* с деревьями гром.“

„И бьющаяся рыбешка, светлые рисуя знаки чешуйчатым своим тельцем, попадает в жесткие дьячковские пальцы, где ей разрывается рот, и уже—*племб*: булькнула в ведро“

„Вз—взз—взз—пролетает ласточка.“

„Затанцовала в воздушном восторге *плясовица-ласточка: чивви-чивви!!*“ „Дыр-дыр-ды“—загрохотала телега под самым окном столяра“.

„ПЕТЕРБУРГ“: „Что то издали *дзанкнуло*.“ „И французик *растароторился*; и казалось, что *дзенькает*: а особа глупо *бубукала*, перебивала французика.“

„Не было слышно ни суетливого *кляканья* шин ни *цоканья* конских копыт“

„Ухватили его за *сюртучную* фалду; рванули; *закракала* дорогая материя.“ „*Чебурухнул* там дверной блок.“

Звукоподражательными эффектами богаты наши пословицы, особенно загадки. Иногда: схватить звуковой смысл загадки значит отгадать ее. Такова, например, следующая загадка про косу: *ходит щучка по заводу, ищет щучка тепла гнезда где бы щучке трава густа.*

Повторение слова „щучка“ в сочетании с другими словами дает звуковой образ косыбы, мерный и свистящий.

Известны пословицы про молотьбу, цепи:

Летят гуськи, дубовые носки, говорят: гуськи: „То-то-ты, то-то-ты!“

Летят гуськи, дубовые носки, говорят гуськи: „Чекоты, чекоты, чекотушечки!“

Потату, потаты, такату, токаты—а лички ворохом несутся.

Вот пословицы:

Жернова говорят: в Киеве лучше, а ступа говорит: что тут, что там.

Наша дуда и туда и сюда.

Нельзя однако полагать, что звуковой смысл речи заключен лишь в звукоподражании. В звуках может быть своя музыкальность и мелодичность без всяких заданий реалистического подражания природе. Пример: „*Дали голодной Маланье оладьи, а она говорит: испечены неладно*“. Здесь осязательна слуху игра на звуках *ла ли*. Какой в этом смысл—никакого. Но благозвучие достигает нашего уха и радует его. Может быть, можно поверить Бальмонту и другим поэтам и признать пекий тайный смысл каждого звука? Верить им, не верить, но ясно одно, что речь человека и сознательно и бессознательно стремится сгруппировывать одинаковые звуки, старается благозвучно чередовать их, стремится к звукоисси.

*) Пели соловьи пихотени

И *зужужал* водомет (Державин „Царь-девица“, Слово народное, с. 81 у Дали

Та же народная словесность дает бесконечные повторения строк, слов, корней, приставок,—разве не музыкальность лежит в основе всех этих повторений. Эти аллитерации и ассонансы значат то же, что и рифмы, связуя слова подчеркивая звукописью внутренний смысл и содержание.

Простейшая частушка:

*Лебедь белый и крылатый
Любит солнечный полет.*

Какая это изумительная игра слогами *ле* и *бе*, данными в слове „лебедь“, звуками *л* и *б*.

Как по морю, морю синему,
По синему по Хвалынскому,
Плыла лебедь с лебедятками,
Со малыми со дитятками.

Опять около слова „лебедь“ сочетаются слова с плавным *л*; Хвакурискому, и *плыла лебедь*, с *лебедятками*, со *малыми*; при чем в трех словах однозвучный слог *лы* повторность слова рифма, повторность приставок *по* (по синему по Хвалынскому), *со* (со малыми со дитятками)—все это выявляет тайну какого-то звукового благообразия, мелодичности и плавности—в тон напеву этой песни и в такт медлительному движению хора (это песня хороводная). Кончается песня тем, что на лебедь нападает сизый орел:

Он руду ронил во сине море,
Он пух пустил во зеленый луг,
А перышки—во дубравушки.

„Руду ронил“, „пух пустил“, „перышки—во дубравушки“—созвучны то начальные, то заключительные слоги слов. И в середине строки цезура, передышка, прерываемая неизменным предлогом *во*, который в соединении с последующими (во сине море, во зеленый луг, во дубравушки) в неизменных пяти слогах параллельно, однозвучно и одномысленно заканчивает песню.

Стремление к некоему звуковому благолепию (чинная, степенная музыкальность) выявляется и в былинне и в причитаниях особенно, однородностью приставок и предлогов, созвучностью суффиксов и своеобразной рифмой. Конечные слова строк почти всегда имеют одинаковое количество слогов, и глагол откликается глаголу, существительное существительному:

Как после своей любимой семейки
Уже пять прошло у четырех неделюшек,
Мне-ка да шесть-то учетных кажет годиков.
Притрудилась на крестьянской я работушке.

У меня силушка теперь да придержалась,
С горя рученьки мои да примотались,
Во слезах да ясны очи примутились,
Добры людюшки тогда надивились.

День и ночь хожу на трудной на работушке,
Не в спокою тут ретливое сердечушко,
Не во радостях ретливое сердечушко,
Не во радостях кручинная головушка.

Однородность суффиксов не только выдерживает стиль, но звучит определенно в угоду слуху: семейки, неделюшки, работушке; то же с приставкой и с глаголом в целом: придержались, примотались, примутились.

Параллелизм, тавтология столь обычны в народном языке, и основа их тоже на половину музыкальная.

Размер, ритм стиха—тоже музыка но об этом мы говорить не будем*)

Обратимся к той звукописи, которую определенно можно назвать звуко-подражанием. Напевая мотив, без слов, на одних звуках, мы берем чаще всего звуки *тра-ля-ля-ля*. Для передачи звуков струнного инструмента нам необходим именно первый слог *тра*. Согласные *т, р*, имеются в слове *струна, гитара*, и этим словом играют обычно при желании передать звук гитары или балалайки.

Памятно у Гоголя про русскую балалайку и про ее тихострунное треньканье.

У Блока:

Взял гитару на прощанье
И из *струн исторг*
Все признанья, обещанья,
Всей души восторг.

У А. Белого: Правда *гитара* с порванной *струной*, да на то и попадыха, чтобы на *трех* только *струнах*, без стеснения *тарарыкать*.

У Мандельштама описан разбитый инструмент кинематографа:

Разлука. Бешеные звуки
Затравленного фортепьяно.

Слова *хрунь, хруст, храп*—тоже звукоподражательного смысла, и можно указать ряд поэтических строк созданных на основе этой звукописи:

У Северянина:

Морозом выпитые лужи
Хрустят и *хружи*, как *хрусталь*.

У него же:

Над ручейками *хрусталил* *хрунь*.

У Блока:

Вновь оснеженные колонны,
Благин мост и два огня.
И голос женщины влюбленный,
И *хруст* песка и *храп* коня.

У Белого: „Ему отвечает лишь *хруст* *хвороста*—да *бульканье* по *болоту* убегающих к Целебееву ног“.

Однако среди звукоподражаний в стихах и прозе наибольшее число дает описание *грохота* и *грома*. Первые блестящие опыты делал Державин.

Он слышит: сокрушилась ель,
Станица вранов встрепетала,
Кремнистый холм дал страшну щель,
Гора с богатствами упала,
Грохочет эхо по горам,
Как гром гремящий по громам.
(Водопад).

*) Руководства по вопросам стихосложения: Шульговский. Теория практика поэтического творчества. Изд. Вольф. 1914 г. Брюсов. Наука о стихе М. 1919 г.

Рокочущее *p* сопровождается иными согласными, в сочетании с которыми рождаются раскаты, трески, удары: *сокрушилась, званов, вострепелала, кремнистый, страшно, гора, грохочет, по горам—как гром гремящий по громам.*

Великий Петр к ним взор низводит,
И в ревности своей святой,
Как *трубный гром* меж *гор* гремит,
Герой героям говорит.
(На взятие Варшавы).

В оде „На рождение на севере порфирородного отрока“.
Тот принес ему гром в руки
Для предбудущих побед—

дан эффект иной, на звуках губных, *и и б* (для предбудущих побед) эти удары звучат в отдалении будущего, и потому они сознательно заглушены.

Есть, конечно, и у Пушкина памятные строки, хотя бы в „Медном Всаднике“:

Как будто *громы грохотали*
По потрясенной мостовой.

И особенно то место «Евгения Онегина», где дано описание мазурки, ее грохот и гром.

Мазурка раздалась. Бывало,
Когда гремел мазурки *гром*
В огромной зале все дрожало,
Паркет *трещал* под каблуком,
Тряслися, дребезжали рамы;
Теперь не то, и мы как дамы
Скользим по лаковым доскам.

Очень эффектен переход в последних двух строчках к легкости и беззвучности: созвучие *гр, тр, др*—сменяется плавными звуками: звуковая картина изумительна.

На таком же контрасте построено и другое место «Евгения Онегина»:

Бренчат кавалергарда шпоры,
Летают ножки милых дам.

Стихотворение Тютчева „Люблю грозу в начале мая“ построено тоже на созвучии *гр*.

Когда весенний *первый гром*,
Как бы *резвяся и играя*,
Грохочет в небе голубом.
Гремят раскаты молодые...

И там лесной и шум *нагорный*
Все вторят весело *громам*.

Описание грозы в «Степи» Чехова, в романе А. Белого «Котик Летаев» — все это тоже неустанный желанием передать звуками гром, грохот, удары и раскаты. И мы постоянно слышим рядом со словом *гром* слова: *град, гроза, грозный, греметь, играть, огромный, рокотать, разить, бугры, миры, орды* и т. д. «Красные, рыжие вихри пожаров разразившихся гроз, прорывавших громом», так определяет звук *р* Бальмонт. *)

Но помимо своего звукоподражательного смысла, передавать подлинный грохот и гром, звук *р* может иметь также смысл символический; он может передавать нечто не имеющее прямого как бы фонографического значения. *Р*-знаменует силу и мужество.

В полях кровавых Марс страшился,
Свой меч в Петровых зря руках.

Р — скорое, „узорное угрозное, спорное, взрывное. Разорванность гор. В розе румяное, в громе рокошующее, пророческое — в руках, распростертое в равнинах и в радуге.“ **) Так пытается передать этот сокровенный смысл звука Бальмонт.

Еще лучше говорит он о мягком звуке *Л*, „Лепет волны слышен в *Л*, что-то влажное, влюбленное, Лютик, Лиана, Лилея, Переливное слово. Люблю. Отделившийся от волны волос своевольный локон. Благовольный лик в лучах лампы. Светлоглазая льнущая ласка; взгляд просветленный, шелест листьев; наклоненье над люлькой.“

Думается, что этот звук *л* взят Пушкиным в основу характеристики Ольги Ларинской. Ее легкомыслие, легкость, умение быть ласковой, ее локоны, улыбка — все это подчеркивается (бессознательно, конечно) звуком *л*, скользящим и легким, а чаще именно мягким *л*, звучащим в самом имени Ольги.

Как жизнь поэта простодушна,
Как поцелуй любви мила
Глаза, как небо голубое,
Улыбка, локоны льняные,
Движенья, голос, легкий стан,
Все в Ольге...

(III глава 23 стр.)

Не Мадригалы Ленский пишет
В альбоме Ольги молодой...

(IV, 31)

Легче ласточки влетает.

(V кл, 21)

Час от часу плененный боле
Красами Ольги молодой
Владимир сладостной неволе
Предался полною душой.

*) К. Бальмонт. Поэзия, как волшебство. Кн. во Скорпион 1915 г. М.

**) Там же стр. 66.

... Любвью упоенный,
В смятении нежного стыда,
Он только смеет иногда,
Улыбкой Ольги ободренной,
Развитым локоном играть,
Иль край одежды целовать.

(IV, 25)

Пойдет ли домой: и дома
Он занят Ольгою одной.
Летучие листки альбома
Прилежно украшает ей:
То в них рисует сельские виды,
Надгробный камень, храм Киприды,
Или на лире голубка.

(IV, 27)

Как в имени *Ольги Лариной* дважды звучит это *л*, так в имени соседнем *Владимир Ленский* этот же звук обязателен слуху, он делает созвучным эти два имени, усугубляет смысл их встречи.

Имя настоящей героини романа, Татьяны, построено на двух звуках: *а* и *т*. Одно—вольная, широкая гласная, некая душевная полнота и звучность; другое—какая-то задержка, преткновение, трепетность и замкнутость. Переходя от характеристики Ольги к описанию Татьяны, Пушкин сразу берет широкое громкое *а*.

Ее сестра звалась Татьяной...
Итак она звалась Татьяной...
Дика, печальна, молчалива.
Как лавь лесная боязлива.
В привычный час пробуждена,
Вставала при свечах она.
Ей рано нравились романы.

Это *а* звучит под ударением; во всех словах явно и ясно господствует. Однако имя Татьяны часто стоит рядом с эпитетом *томная, трепетная*. Звук *т*, удвоенный в самом имени, сопутствует ему в соседних словах, знаменуя какой-то тайный трепет, желание задержать в себе свои чувства и мысли в имени *Татьяна а* ущемлено между *т*. (В соседних словах иногда это *д*).

Тоска любви Татьяну гонит
И в сад идет она грустить . . .

(III, 16)

Татьяна в темноте не спит
И тихо с няней говорит

(III, 16)

Татьяна слушала с досадой
Такие сплетни по тайком
С неизяснимою отрадой
Невольно думала о том . . .

Давно сердечное томленье
Теснило ей младую грудь;
Душа ждала... кого нибудь

(III, 7)

Но день протек и нет ответа
Другой настал все нет и нет:
Бледна, как тень, с утра одета,
Татьяна ждет когда ж ответ.

(III, 36)

Светил небесных дивный хор.
Течет так тихо, так согласно
Татьяна на широкий двор
В открытом платье выходит.

(V, 9)

Сажают прямо против Тани,
И утренней звезды бледней,
И трепетней гонимой лани,
Она темнеющих очей

Не поднимает.

(V, 30)

Но, девы томной
Заметь трепетный порыв...

(V, 31)

Сметенье Тани видеть мог...

(V, 32)

Тогда
В сметеньи Таня торопилась.

(V, 6)

Татьяна видит с трепетаньем...

(VII, 23).

Слова „трепетный“, „темный“, „сметенье“, „трепетанье“ неизменно сопутствуют имени Татьяны, звуча в том самым звукам имени. Смысл и звук сливаются воедино.

З а д а ч и.

№ 55.

Припомните звукоподражательные глаголы, дающие звуки, производимые животными.

№ 56.

Составьте мальенький рассказ с рядом звукоподражательных междометий и из глаголов. Темы: Драка, Неудачный выстрел, Ночные страхи, На пожаре, Работы плотника.

№ 57.

Прочитать указанные выше отрывки на тему „гроза и грохот“, и проанализировать их со стороны звуковой.

№ 58.

Выразительное чтение стихов и прозы, дающих соответственный звукоплетельный материал: *)

Басня Крылова.

Ворона и лисица,
Лягушка и вол,
Обоз,
Осел и соловей,
Муха и дорожные,
Две бочки,
Кукушка и петух.

Народные сказки.

Лиса, заяц и петух,
Лиса—плачел,
Лиса и тетерев,
Кот, петух и лисица.
Звери в яме,
Медведь и петух,
Смерть петушка,
Курочка,
Ворона и рак,
Ивашко и ведьма **)

Стихи.

Бальмонта—

Камыши,
Челн томленья,
Дождь,
Колокольчики и колокола

(перевод из Эдг. По).

Блок.—

Двенадцать.

М. Волошин—

В цирке.
В вагоне.

С. Городецкий—

Весна.

О. Мандельштам—

Кинематограф ***)

М. Кузмин—

Александрийские стихи.

Верхари в переводе Брюсова—

Ветер.

*) Для стихов Блока, Бальмонта и др. особенно рекомендуется многоголосая декламация.

**) Указанные сказки имеются в I томе сказок Афанасьева, изд. 4-ое. 1913.

***) „Камень“ стихи Мандельштама М. 1916.

№ 59.

Уясните себе звуковую выразительность загадки и пословицы: звукоподражание, рифму, ассонанс, аллитерацию, размер *)

Во поле-поле затопали кони, заревел медведь на ярмарке.

Тах-тарарах, стоит дом на горах, вода брызжет, борода трясется (Мельница).

За ельником, за березничком кабылка ржет, жеребенка ждет (Мельница).

Летят гуськи, дубовые носки, говорят: „То-то-ты то-то-ты“! (цепы).

Летят гуськи, дубовые носки, говорят гуськи: „гекоты, гекоты, гекотушечки!“ (цепы).

Бились попы, колотились попы, пошли в клеть, перевешались (цепы.)

Ходит щучка по заводи, ищет щучка тепла гнезда, где-бы щучке трава густа (коса).

Дзень, дзень на Петров день, стучочет, бряочет, а к зиме с поля уходит (коса).

Стоит волчище, выхвачен бочище, не дышет, а пышет (овин).

Дудка-дуда, на дуде дыра; дуда затрещит, собака бежит (ружье).

В печурке три гурки, три гуся, три утки, три яблока (ружейный заряд).

Летела тетеря, вечером—не тенера, упала в лебеду и теперь не найду (пуля).

Пошел по тух-тухту, взял с собой рав-тахту, а нашел я на храп-тахту; кабы не тав-тахту, с'ела бы меня храп-тахту (Пошел за лошадью, взял с собой собаку и набрел на медведя).

Над бабушкиной избушкой висит хлеба краюшка (месяц).

Идет лесом—не треснет; идет плесом—не плеснет (месяц).

Никому не собрать, ни понам, ни дякам, ни нашим дуракам, ни серебряникам (звезды).

Ни стуки, ни бряк к окну подошел (свет).

Гни меня, ломи меня; у меня есть мохнатка, в мохнатке гладко, в гладком сладко (орех).

Стоит древо, древо ханское, платье шамаханское, цветы ангельски, когти дьявольски (шиповник).

Малы малышки, катали катышки, сквозь землю прошли, синю матку нашли; синя, сняя, да и вшивная (горох).

Латка на латке, а игла не была (вилок).

Малая малышка, золота кубышка ни зверь, ни птица, ни вода, ни камень (просо).

На кургане варгане стоит курочка с сергами (овес).

Загану я загадку, закину за грядку; в год пуцу в другой выпущу (рожь).

Синяя снничка весь белый свет одела (иголка).

На яме-яме, сто ям с ямой (наперсток).

Дали голодной Маланье оладьи, а она говорит: испечены неладно.

Едут-дуга на дуге (много).

Жернова говорят: в Киеве лучше, а ступа говорит: что тут, что там.

Дон-Дон, а лучше дом.

*) О звуковой стороне слова:

1) В а л ь м о н т. Поэзия, как волшебство.

2) П у л ь г о в с к и й. Теория и практика поэтического творчества.

3) Ш а л ы г и н. Теория словесности.

4) А. В е л ы й. Языки Аарона. (Скифы, I сб. 1917 г.)

Прилагаемые пословицы рекомендуется переписать на отдельные карточки и вести работу раздавая их по рукам учащимся.

Бывали были, а бояре волком были.
Было мыло, стало сало.
Все на свете крыто корытом (неизвестно).
Водою плывучи, что вдовой живучи.
Мал сокол, да на руке носить; велик верблюд, да воду возить.
Велик дуб, да душлист, а мал дуб, да здоров.
Много-сытно, мало—честно.
Толст да прост, тонок да звонок.
И велик, да дик, и мал, да удал.
Наша дуда и туда, и сюда.
Сила по силе—осилишь, а сила не под силу—сядешь.
Баран бараном, а рога даром.
На прилавке булавки, а на полке иголки.
Своя рогожа чужой рожи дороже.
Не стучи ключами—ссора будет.
Купи не скупись, ездй веселись (надпись на колокольчиках).
Кумушка—кума, купи себе—ума,—да на свои денежки.
Скоро хорошо не родится.
Досужа кума, ложки вымыла и шей налила.
В тесноте люди песни поют, на просторе волки воют.
Не тем красен пир, что в трубы трубят, а тем, что люди людям любы.
Добрая стрела орлиным пером перена.

№ 60.

Разберите со стороны звукописи „Обвал“ Пушкина, „Медного всадника“ *) „Цыган“ **).

Отдельные места из „Евгения Онегина“: гл. III, ст. 16 31, 37, гл. IV, ст. 25—27, гл. V, 42 ст. гл. VI, ст. 32, 41 гл. VII, 7, 10, 19, 38.

№ 61.

Приведенные ниже строки стихов Лермонтова уясните себе со стороны их звукописи:

Ликует буйный Рим... Торжественно гремит
Рукоплесканьями широкая арена.
(Умирающий гладиатор).

Русалка плыла по реке голубой,
Озаряема полной луной,
И старалась она доплеснуть до луны
Серебристую пену волны.

(Русалка).

Пускай персты твои, промчавшись по ней,
Пробудят в струнах звуки рая.

(Еврейская мелодия).

Молитву-ль тихую читали,
Иль пели песни старины,
Когда листы твои сплетали
Салима бедные сыны.

(Ветка Палестины).

*) См. статью В. Б. Юсова о VI т. сочинений Пушкина изд. Брокгауза и Ефрона («Стихотворения техника Пушкина»).

**) В том того же издания, статьи Вяч. Иванова «Цыганы».

Черноокая далеко
В пышном тереме своем;
Добрый конь в зеленом поле...

(Узник.)

На мягкой пуховой постели,
В парчу и жемчуг убрана,
Ждала она гостя. Шипели
Пред нею два кубка вина
Лишь Терек в теснине Дарьяла.
Гремя нарушал тишину;
Волна на волну набегала
Волна погоняла волну.

(Тамара).

№ 62.

Проследите ассонансы на *а* и *у* в стихотворении Лермонтова „Бородино“ *).
Проследите аллитераций на *л* и *т* в стихотворении Лермонтова „Кавказ“ и
уясните себе их смысл.

Эпитет.

„Какие озаряющие предметы эпитеты, да, солнечные эпитеты, неожиданные, вдруг раскрывающие перспективы предметов“ **) Так сказал Боткин про „Накануне“ Тургенева. И таково вообще назначение эпитета—озарять предметы.

Погодин рассказывает о своем впечатлении от чтения Пушкиным „Бориса Годунова“: „Когда Пушкин дошел до рассказа Пимена о посещении Кириллова монастыря Иоанном Грозным, о молитве иноков: „да ниспошлет Господь покой его душе, страдающей и бурной“,—мы все просто как-будто обеспамятили“, „Действительно определить душу Грозного „страдающей и бурной“—это значит воистину прояснить понимание этого загадочного и сложного характера. И любопытно следующее: Погодин, цитируя Пимена ошибся в слове „покой“, у Пушкина стоит „любовь и мир“—но в эпитете он не ошибся, да и их и мудроно забыть.

Эпитет—это то самое меткое слово, о котором говорит Гоголь, приписывая его только русскому складу ума. Всякое прозвище, кличка—это и есть, собственно говоря эпитет: „Алешка был меньшей брат, рассказывает Толстой про своего героя. Прозвали его горшком за то, что мать послала его снести горшок молока дяконнице, а он споткнулся и разбил горшок. Мать побила его, а ребята стали дразнить его „горшком“. Алеша горшок—так и пошло ему прозвище“. Мало ли Алешек? А этот—особенный в отличие от других—Алешка горшок. Большинство фамилий имеет такое происхождение. Был когда то боярин „Лев широкий рот“, переименовали его потом во *Ртище* и пошли дворяне *Ртищевы*.

Ведь в сущности, все наши имена таят в себе прозвища: Ксения—странница, Елена—греческая. Мария—горькая. Серафим—пылающий, Леонид—гнездо львов, Иван—молодой, Виктор—победитель. Так же и за обычными существительными *таются определения: дочь-дочьница, месяц-измеритель, мышь—воруюшная, девица—прекрасная, море—сокрушающее, солнце—светящее, река—текущая, вебрь—щетиный, зубр—гривистый, коршун—терзающий.*

*) Описание мужества русских сопровождается звуком „а“, французы представлены звуком „у“, говорит А. Велый, давая анализ этого стихотворения в статье „Жизнь Аарона“, Спб. 1-ый сборник ст. 198.

**) Фет. Мои воспоминания, I, 328.

Такое определение что-то значит, это образ, в нем есть картинность, живописность, и как только она пропадает, то мы прибавляем к такому замершему слову эпитет. Говорим: *быстра* реченька, *сердитое* море, *яркое* солнце.

Значение эпитета несколько сходно со значением суффикса. Можно сказать: милая дочь и *-доченька*, большой рот и *-ртыще*, низкая душа *-душонка*. И суффикс и эпитет определяют понятие, живопис уют: алгебраические знаки слов раскрывают свой подлинный смысл, свое единичное значение, свою индивидуальность. А в поэзии как раз и нужно это единичное, индивидуальное неповторяемое и характерное.

Однако давно известно, что мир изображенный художником, это прежде всего его мир. Как мастер кисти тяготеет к определенным краскам и линиям, так художник слова тяготеет к определенным эпитетам. И вот этими эпитетами для читателя определяется тогда не столько мир, сколько сам творец этого мира, поэт. Мера субъективности писателя наиболее уловима при помощи анализа его эпитетов.

Для Чехова, например, таким любимым эпитетом является *тихий*. Пейзаж, передающий тихий летний вечер — это типичная обстановка его рассказов. Он не любит дня и утра с их суетой и звуками, его тянет к себе та вечерняя тишина, когда, кажется, „собрались отдыхать и поле, и лес, и солнце—отдыхать, быть может, молиться.“ („Случай из практики“) Чехов любил молчание, любил тихие монотонные звуки, догорающую вечернюю зарю, любил „продолжительные очные ставки с *тихими* летними ночами.“ („Агафья“). Вот впечатления маленького Егорушки („Степь“): „Воз *тихо* скрипел и покачивался... Егорушка лежал на спине и заложив руки под голову глядел вверх на небо. Он видел, как заигралась вечерняя заря, как потом она угасла; ангелы-хранители, застывая горизонт своими золотыми крыльями, располагались на ночлег; день прошел благополучно, наступала *тихая*, благополучная ночь, и они могли спокойно сидеть у себя дома на небе.“ А вот из рассказа „Студент“: „В Евангелии сказано: „И исшед вон, плакося горько“. Воображаю: *тихий—тихий, темный темный сад, и в тишине сада едва слышатся глухие рыдания*“.

Эпитет *тихий* прилагает Чехов даже в той деревне в которой жили его мужики: „Вся деревушка; *тихая* и задумчивая, с глядевшими из дворов ивами, бузиной и рябиной, имела приятный вид. „*Тихим* казалось даже Уклево, в котором творилось не меньше ужасов, чем в Жукове: „Если взглянуть сверху, то Уклево со своими вербами, белой церковью и речкой казалось красивым. *тихим*“ („В овраге“).

Пусть бушует злоба в человеческой душе, пусть творится преступление и обида, но в природе царит все та же тишина, целющая и святая. Таков смысл предыдущих описаний, так же, как и следующего, взятого из одного из самых спокойных рассказов „Человек в футляре“: Была полночь, направо видно было все село, длинная улица тянулась далеко, верст на пять. *Все было погружено в тихий глубокий сон, ни движения, ни звука, даже не верится, что в природе может быть так тихо.* Тогда в лунную ночь видишь широкую сельскую улицу с ее избами, стогами, уснувшими ивами, то на душе становится *тихо*; в этом своем покое, укрывшись в ночных тенях от трудов, забот и горя, она кротка, печальна прекрасна, и кажется, что звезды смотрят на нее ласково и с участием и что зла уж нет на земле и все благополучно“.

В этих описаниях природы, Чехов наиболее лиричен, это его мир, отображение его душевной музыки. Типичный русский интеллигент, он любил природу, как дачник, как созерцатель дивных весенних и летних вечеров; рабочая сторона русского пейзажа с его суетой, со скрипом телеги, с криками и песней — это прошло мимо него: он — рыболов, любитель собирания грибов, он ищет и находит тишину, ею живет, ее переносит в свои рассказы. „*Был тихий летний вечер*“ — это найдете вы почти в каждом Чеховском рассказе, и в описании этой тишины он неистощимо лиричен.

Брюсов в одной из своих статей (о Гиппиус) мимоходом обмолвился, что *безумный* любимое слово Фета. Действительно, если взять элегии Фета, взять „Вечерние огни“—этот эпитет определенно преобладает. Страсть, любовь, поэзия—все это делает его *безумцем*; он не устает говорить об экстазе чувства, он вечно—коленипреклонный, трепещущий, и поющий. Рассудок зовет он „грошевым“ и непрестанно воспекает „безумную прихоть“ певца.

Как богат я в *безумных стихах*!

Нет, лучше голосом, ласкательно обычным,
Безумца вечного, поэта, не буди.

Когда бы ты знала, каким сиротливым,
Томительно-сладким, *безумно-счастливым*
Я горем в душе опьянен.

И я стою уже, *безумный* и немой,
И каждый звук ночной смущенного пугает.

Мечтой *безумною* полна душа моя
Размышлять не время видно,
Как в ушах и в сердце шумно!
Рассуждать сегодня—стыдно,
А *безумствовать* разумно.

У Фета встречается этот глагол *безумствовать*, поэта он чаще всего называет *безумцем*, любовь *безумной*.

(Не стану кликать вновь забывчивую младость
И спутницу ее—*безумную* любовь)—
свой думы и дни—*безумными*.

Как в дни безумные, как в пламенные годы....

И я шепчу *безумные* желанья,
И лепечу *безумные* слова.
О, называй меня *безумным*! Назови,
Чем хочешь: в этот миг я разумом слабею—
И в сердце чувствую такой прилив любви,
Что не могу молчать, не стану, не умею!

Известно, что это свое святое безумие Фет не только поэтически воспевал, но и принципиально отстаивал. Он вечно воевал с рациональным началом в поэзии, воевал с тем же Тургеневым, писал об этом Толстому; и Толстой сам противник умствований отвечал ему: „От этого то мы и любим друг друга, что одинаково думаем *умом сердца*, как вы называете. (Еще за это письмо вам спасибо большое. *Ум ума и ум сердца*—это мне многое об'яснило)“. (Письмо Толстого от 27 июня 1867 г.). Насколько Фет и Толстой были единомысленны в этом вопросе, настолько расходились между собой Фет и Тургенев. Не даром, когда они спорили в замке М—ше Виардо, то через стену дамам казалось, что вот вот они убьют сейчас друг друга. Касаясь этого пункта в одном из писем, Тургенев пишет Фету: „Впрочем, это между нами нескончаемый спор; я говорю, что художество такое великое дело, что целого человека на него хватает со всеми его способностями, между прочим и с умом; вы поражаете ум сарказмом и видите в произведениях художества только бессознательный лепет спящего“. (Письмо Тургенева от 4 февраля 1862 г.).

Возьмем стихи Тютчева. В редком из лучших его стихотворений не найдется эпитета *роковой*. Отмечая трагическую сторону жизни и чувства, Тютчев неизбежно

озаряет сумрачным и загадочным словом „роковой“ все явления своего внутреннего мира.

Счастлив, кто посетил сей мир.
В его минуты *роковые*:
Его призвали всеблагие,
Как собеседника на пир.

(Цицерон).

Но меркнет день, настала ночь;
Пришла—и с мира *рокового*.
Ткань благодатную покрова
Сорвав, отбрасывает прочь.

(День и ночь).

Тютчев значительно и скорбно отмечает роковые дни жизни; это искушения любви и самоубийства.

И только в *роковые* дни
Своей неразрешимой тайной
Обворажают нас они

(Близнецы).

Бывают *роковые* дни
Лютейшего телесного недуга
И страшных нравственных тревог,

говорит он Никитенко. Он вспоминает о дне первой „встречи *роковой*“.
Снова возвращается к нему памятью—

Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло
С того *блаженно-рокового* дня,
Как душу всю свою она вдохнула,
Как всю себя перелила в меня.

Он поминает тем же словом день ее кончины:

Завтра день молитвы и печали
Завтра память *рокового* дня;
Ангел мой, где бы души ни витали,
Ангел мой, ты видишь ли меня?

И день своей грядущей смерти он отмечает все тем же значительным и загадочным словом. „На кончину брата“:

Передового нет, и я, как есть,
На *роковой* стою очереди.

В некоторых стихах Тютчева, эпитет этот встречается не один раз (*Две силы есть... Проезжая через Ковно. Предопределение*).

Любовь, любовь—гласит преданье—
Союз души с душой родной,
Их с'единенье, сочетание,
И *роковое* их слиянье,
И поединок *роковой*.

Есть у Тютчева еще одно определение—тоже загадочное—это *некий*,

Жизни *некий* преизбыток
В знойном воздухе разлит.

Есть *некий* час всемирного молчания.

Властью *некой* обаянны,
До восшествия зари,
Дремлют грозны и туманны,
Словно падшие цари!

И с высоты, как *некий* бог,
Казалось, он парил над ними.

К эпитетам Тютчева нам еще придется вернуться, слишком они замечательны и необычайны; сейчас же только отметим тяготенье поэта к загадочному и значительному, выраженному в слове *роковой* и подчеркнутому в совершенно необыкновенном, чисто Тютчевском словесном жесте—*некий*,

Влюбленный поэт, всегда поющий и коленопреклоненный—зовет себя *безумцем* и свои чувства *безумными*; Тютчев, живущий той же страстью—но постоянно мыслящий и мудрый—для него годы и дни встают во всей загадочной значительности своей, и он отмечает их *роковой* смысл.

Различие между духовным миром Пушкина и Лермонтова, между стилями этих двух поэтов, на эпитетах сказывается разительно. Лермонтов берет очень определенные эпитеты, круг его определений—замкнут. Пушкин свободен и бесконечно изобретателен. Словно и в зрелом возрасте были для него новы все впечатленья бытия, он удивлялся, поражался и отзывался на все новым, молодым словом. „Мне впечатленья не новы“, говорит ему в противоположность Лермонтов, и ничему не удивляется, словно все знает заранее. И потому у него все *хладное, немое, тайное, таинственное, далекое, чуждое, мрачное, мятежное и роковое*. Перечисленные эпитеты чрезвычайно типичны для Лермонтова. И, конечно, определяя большинство своих впечатлений именно так, Лермонтов дает всему миру окраску несколько однотонную; его эпитеты таковы, словно они бросают тень на предметы, делают их более загадочными. Образ Пушкинский обретает эпитет, как крылья, и такое воистину окрыленное слово, парит, четко вырисовываясь в воздухе; если про Пушкинский образ так естественно сказать, что он *озарен и окрылен* эпитетом, то про Лермонтовский—что он эпитетом *осенен*.

К перечисленным выше определениям Лермонтова нужно добавить: *голубой, седой, золотой, живой, святой, вечный, лукавый, бесплодный, чудный, жадный, благородный, звучный, мерный, шумный и тихий*. Этих эпитетов Лермонтов держался очень упорно.

В песчаных степях Аравийской земли
Три *гордые* пальмы высоко росли.
Родник между ними из почвы *бесплодной*,
Журча пробивался волною *холодной*.

В этом же стихотворении: „из *чуждой* земли“, „звучный ручей“, „в дали *голубой*“, „пепел *седой* и *холодный*“.

Чрезвычайно насыщены Лермонтовскими эпитетами стихи „Памяти А. И. Одоевского“ и „Последнее новоселье“. Франция встречает „*хладный* прах“ того, кто погиб среди „*немых* страданий“; поэт говорит о Наполеоне, что он был везде „*холодный*, неизменный, отец *седых* дружин“, что „в полях *чужих* он *гордо* погибал“, что он замучен „мщеньем *бесплодным, безмольною* и *гордою* тоской“.

О поэтической речи Лермонтова должно сказать, что она поразительно свидетельствует о яркой суб'ективности поэта; его образы и эпитеты не вырастают органически из наблюдений его над миром, а сами образуют свой мир, очень устойчивый и постоянный. Определяя все *хладным*, *немым* и *тайным*, не выразил ли этим Лермонтов отчасти мировоззрения своего? Лермонтовские эпитеты определяют в сильнейшей мере именно то, *какой* являлась ему жизнь.

Известно, что Лермонтов особенно тяготил к звукам: в мире песен и музыки чувствовал он себя взволнованным, отзывчивым и чутким,

Не кончив молитвы,
На звук тот отвечу,
И брошусь из битвы
Ему я на встречу.

В связи с этим поэт определенно тяготеет к эпитетам *звонкий*, *звучный*, *стройный* и *мерный*. У часового „звонкое ружье“ (сосед), татарин скачет по „звонкой мостовой“ (свидание); князь Синодал привстал на „звонких стременах“, конь его несется „разом в землю ударяя пятами *звонкими* копыт“; в „Демоне“ „звучно бегущие ручьи“, в „Трех пальмах“ „звучный ручей“, и там же: „кувшины *звуча* наполнились водою“.

В песне, в звуках Лермонтов отмечает размер, ритм, счет, и потому любит он говорить о стройности и мерности. Из кельи Тамары доносится «чангуры *стройное* бряцанье», а в „Трех пальмах“ отмечено как раз противоположное:

Звонков раздавались *нестройные* звуки.

Лермонтов любит всякое мерное движение, скачку, пляску. Вот как он описывает скачку на коне:

Блажен
. кто головой припав на гриву.
Летал, подобно сумрачному Диву,
Через пустыню, *чувствовал, считал*,
Как *мерно* конь о землю ударял,
Коньком *звучным*, и вперед землею
Упруго был кидаем с быстротою.

(Сашка. CXLX).

Подруги Тамары поют „в ладони *мерно* ударяя“. Понятно после этого, что поэт не упустил случая назвать и стихи «*мерными*», «*размеренными*».

Бывало, *мерный* звук
Твоих могучих слов
Воспламенял бойца для битвы

(Поэт).

Стихом *размеренным* и словом ледяным
Не передашь ты их значение:

(Не верь себе...)

Один из самых заметных эпитетов дан в стихотворении „Узник“:

Только слышно: за стенами
Звучномерными шагами
Ходит в тишине ночной
Безответный часовой.

Лермонтов долго искал этого слова: было сначала «мернозвучным»; все то же соединение двух излюбленных эпитет: *звучный* и *мерный*.

Лермонтов тяготеет к антитезе—это одна из характерных особенностей его стиля. И часто эта антитеза построена как раз на противопоставлении эпитетов. Особенно много противопоставлений дано слову *холодный*.

Но я вручить хочу деву невинную
Теплой заступнице мира *холодного*.

Но вере *теплой* опыт *хладный*
Противоречит каждый миг.

Дрожа *холодная* рука
Подушку *жаркую* об'емлет.

Под снегом *холодной* России,
Под *знойным* песком пирамид.

Плакающей грудью ко влаге *студеной*.

Эпитет „холодный“, „хладный“ неизменно вызывает в воображении Лермонтова противоположный образ—огня, тепла.

И капают горькие слезы
Из глаз на *холодный* песок.

И жжем ароматы на мраморе *хладном*.

Конечно, встречаются и у Лермонтова эпитеты неожиданные и необычные (И влажный взор ее блестит из под *завистливой* ресницы *Пленной* мысли раздраженья.)—но их нужно отыскивать. Подавляющее большинство эпитетов—это одни и те же: *хладный*, *немой*, *дальный*, *тайный*, *бесплодный*, *звучный*, *золотой* и т. д. Но другое дело, как их ставит Лермонтов—они не надоедают, они только направляют воображение все в одну сторону, задерживают его упорно в круге своего таинственного и печального мира. Даже там, где непосредственное впечатление открывает что-то неожиданное и поразительное анализ показывает наличие всех тех же составных элементов: характерные эпитеты „звучномерный“, „стозвучный“, „беззвучный“ образованы из того же определения „звучный“. Столь же обычное слово „холодный“ делается неузнаваемым в противопоставлении, но само по себе самое привычное для Лермонтова слово.

Вот таких привычных, обычных эпитетов нет у Пушкина. В этом отношении богатство его языка поразительно, его изобретательность неисчислима. Его взор открыт всему Божьему миру, тогда как взор Лермонтова устремлен почти исключительно в глубь его собственной души.

Как памятливы те характеристики, которые давал Пушкин своим современникам, историческим лицам—а ведь это зачастую единственный эпитет, но какой!

Волшебный край! Там в стары годы,
Сатиры смелый властелин,
Блистал Фонвизин, друг свободы,
И *перемчевый* Княжнин;

Там наш Катенин воскресил
То, неля гений *величавый*,
Там вывел *колкий* Шахавской
Своих комедий шумный рой

(Онегин, I, 18.)

Вот характеристика Вольтера в послании Юсупову:

Явился ты в Ферней — и *Циник поседлый*,
Умов и моды вождь проницливый и смелый,
Свое владычество на Севере любя,
Могильным голосом приветствовал тебя.

(К вельможе)

Радищев, *рабства враг*, цензуры избежал.

Державин, *бич вельмож*, при звуке грозной лары.
Их горделивые разоблачал кумиры.

Где *славный* Карамзин сыскал себе венец,
Там цензором уже не может быть глупец.

(Первое послание цензору.)

Когда *чахоточный отец*
Немного тощей Энеиды —
Пустился в море наконец,
Ему Гораций *умный льстец*,
Прислал торжественную оду.

(Давыдову.)

Говоря об александрийском стихе В „Домике в Коломне“, Пушкин дает целую галерею писательских портретов:

III.

Он вынянчен был мамкою не душой;
За ним смотрел *степенный* Буало,
Шагал он чинно, стянут был цезурой;
Но пудренной пийтике на зло
Растрепан он свободно цезурой;
Учение не в прок ему пошло:
Гюго с товарищи, *друзья природы*.
Его гулять пустили без цезуры.

VIII.

И что-б сказал *поэт—законодатель*,
Гроза несчастных мелких рифмачей!
И ты Расин, бессмертный *подражатель*,
Певец влюбленных женщин и Царей!
И ты, Вольтер, философ и *ругатель*,
И ты, Делиль, *Парнасский муравей*.

Еще юношей в своем „Городке“ 1814 года. Пушкин дал целый ряд *подобных же* памятных характеристик.

По эпитетам Пушкина можно составить целую историю литературы:

Божественный Омир, ты тридцати веков кумир.
Чахоточный отец немного тощей Энеиды.
Чувствительный Гораций, умный льстец.
Овидий, златой Италии роскошный гражданин.
Суровый Дант.
Корнеля гений величавый.

Расин, бессмертный подражатель, певец влюбленных женщин и царей.

Мольер—исполин.
Степенный Буало.

Фернейский злой крикун, поэт в поэтах первый, единственный старик философ и ругатель, Циник поседелый, умов и моды вождь пронырливый и смелый.
Руссо, красноречивый сумасброд, защитник вольности и прав.

Лентяй беспечный, мудрец простосердечный, Ванюша Лафонтен.

Дидерот, то чтитель Промысла, то скептик, то безбожник,
Бомарше: Услужливый, живой, подобный своему чудесному герою, веселый Бомарше.

Нежный Парни.
Гюго с товарищи, друзья природы.
Ламартин, сладкозвучный, но однообразный.
Байрон, гордости поэт. Властитель наших дум.

А вот и русская литература.
Ломоносов—наш первый университет.
Слабое дитя чужих уроков, завистливый гордец, холодный
Сумароков.
Стопосложитель хилый (Третьяковский)
Старик Державин, бич вельмож.

Он же: Славный старец наш, Царей певец избранный, крылатым Гением и Грацией венчанный.

Радищев, рабства враг.
Сатиры смелый властелин, Фонвизин, друг свободы.

Твердый Карамзин сокрытого в веках священный судия, страж верный прошлых лет, наперсник муз любимый и бледной зависти предмет неколебимый.
(Славный Карамзин).

Нежный Дмитриев.
Переимчивый Княжнин,
Колкий Шаховской,
Батюшков—наперсник милый Психеи золотой.

И рядом с этим краткое и значительное обращение и Жуковскому учителю и другу: „Поэт“.

Как в этом человеческом мире умеет всех Пушкин назвать по имени, так же и в мире живой и не живой природы, в мире вещей, взгляд его все замечает и язык его все отмечает и называет. Иногда его эпитеты неожиданны и единичны: *выискательный* художник, *непоровный* инвалид, веков *завистливая* даль, *равнодушная* природа, *полудержавный* властелин. Иногда его эпитеты элементарно-просты.

Вино.

Злое дитя, старик молодой, властелин добронравный,
Шумный защитник обид, милый заступник любви.

Но он как-то удивительно волен в их выборе и бесконечно изобретателен; пристрастие к каким-либо отдельным определениям у него заметить трудно. За малыми исключениями. Кажется, например, что Пушкин как-то особенно любит эпитет *суровый*. Нельзя сказать, чтобы он количественно преобладал над другими, но как-то особенно он замечен, и Пушкин дает ему особо почетные места.

Суровым Пушкин называет не раз себя, хотя и косвенно.

Суровый славянин, я слез не проливал

(Овидию)

Бежит он, дикий и *суровый*,
И звуков и смятенья полн...

(Поэт).

И присмирел наш род *суровый*,
И я родился—мещанин.

(Моя родословная).

Подруга дней моих *суровых*,
Голубка дряхлая моя

(Няне).

Суровым так памятно назвал Пушкин Данте, начав этим словом стихотворение, *суровой* назвал он прозу, в „Полтаве“ Мазепа так называет Петра.

(Однажды я с царем *суровым*

Во ставке ночью шивовал.)—

так же назван и император Николай в стихотворении 19 окт. 1836 г.

И новый царь, *суровый* и могучий,

На рубеже Европы бодро встал.

Антитеза, созданная эпитетами, встречается и у Пушкина, как и у Лермонтова, но для его стиля характерно другое явление: он ищет не только различий, но и сходства, и любит ставить одинаковые эпитеты к двум рядом стоящим и зависящим друг от друга словам; это манера характерно—Пушкинская:

Творец

Тебя мне ниспослал, моя Мадона,
Чистойшей прелести, чистойший образец.

(Мадона)

Чудо! Не саянет вода, изливаясь из урны разбитой;
Дева над вечной струей, вечно печальна сидит.

(Царскосельская статуя).

Красавиц модных—модный враг.

(„Евг. Он.“ II гл., 42).

Я вас бежал питомцы наслаждений,
Минутной младости минутные друзья.

(Погасло дневное светило)

И в сладкой тишине я сладко усыплен моим воображеньем

(Осень).

Простим горячке юных лет

И юный жар и юный бред.

(Евг. Он. II, 15.)

Этим приемом создается, как бы удвоенный, умноженный смысл данного определения—квадрат эпитета. Этот прием известен был и Жуковскому—„Да славного участник славный будет“—„Злому злой конец бывает“—но Пушкин, видимо, его полюбил и определенно усвоил.

Наконец нужно сказать о Пушкинском эпитете, что смысл его и слиянность определяемым словом часто подчеркивается звуковыми средствами.

Бсжал я, *трепетный ксирит*.

Два подчеркнутых слова, определяемое и определение—созвучны, слух схватывает какую-то удивительную музыкальность аккорда, которая не исчерпывается одним созвучием *т* и *р* в обоих словах: *трепетный ксирит*.

Также созвучно:

Шипел вечерний самовар
Китайский чайник нагревая.

На стекла *хладные дыша*,
Задумавшись, моя душа,
Прелестным пальчиком писала...

Татьяна верила преданьям
Простонародной *старины*.

Духи в *граненом хрустале*.

Его *бобровый воротник*.

По их пленительным следам.

Любили мягких вы ковров
Роскошное прикосновение.

Прохлада *сумрачной дубравы*.

За то и *пламенная младость*
Не может ничего скрывать.

Могильный гул, хвалебный глас,
Из рода в роды звук бегущий.

Медный Всадник. *)

*) Будучи по существу чугунным, памятник стал в устах Пушкина Медным Всадником (созвучие опорных согласных).

Пушкин очень часто начинает определение и определяемое с одного звука даже с одного слога. Таких примеров особенно много в „Евгений Онегин“.

Театра злой законодатель.

Подобный ветреной Венере.

Иль розы пламенных ланит.

Задержул траурной тафтой.

Прочтя печальное посланье.

Цель жизни нашей для него
Была заманчивой загадкой.

И вечно вдохновенный взор.

И вестник утра, ветер веет.

Какой у дочки тайный том.

С каким живым очарованьем,
Пьет обольстительный обман.

И Вертер, мученик мятежный.

Читаю с тайной тоскою.

Но вот уж лунного луча
Сиянье гаснет.

Летучие листки альбома
Прилежно украшает ей.

Наблюдения над эпитетами Чехова, Фета, Тютчева, Лермонтова и Пушкина доказывают нам прежде всего, что эпитет, как характернейшая черта стиля, весьма резко и определенно может показать нам самого поэта. Эпитет ярко озаряет предмет, живописуемый поэтом, но еще ярче самого поэта.

Обратясь к изначальной роли эпитета—быть поэтическим определением—мы видим, что существует много способов усилить это определение. Первый—поставить его в антитезу („Темного хаоса светлая дочь“), второй—подчеркнуть его со стороны звуковой („Духи в граненом хрустале“) и третий способ—это повторить данный эпитет несколько раз. Мы видим уже, как искусно делает это Пушкин, давая как бы квадрат эпитета („Чистейшей прелести чистейший образец“). Но существует и другой прием повторения эпитета, отмеченный критиками у Толстого.

Характеризуя прием описания Толстого, Мережковский отмечает следующее. На пяти страницах, посвященных описанию Верещагина в „Войне и Мир“, восемь раз повторено слово *тонкий*; в описании Каратаева всем памятен эпитет *круглый*, тоже беспрестанно повторяющийся; Толстой как-бы пристаёт к читателю с этим словом, в противоположность Пушкину, который описывая художественную подробность, делает это легко и не заботится о том, будет ли она замечена и понята читателем“. (Слова Л. Н. Толстого). „Всегда кажется, что Пушкин, особенно в прозе своей, скуп и даже как бы сух, что он дает мало, так что хотелось бы и еще. Л. Толстой дает столько, что нам уже больше нечего желать—мы сыты, если не пресыщены“ *).

Вспомня свою бабушку, Толстой упорно твердит о чем-то *белом*. Он помнит, как она умывалась, как ложилась спать.

„Помню: *белая* кофточка, юбка, *белые* старческие руки и огромные поднимающиеся на них пузыри и ее довольное, улыбающееся *белое* лицо... Помню только ту минуту, когда свечу потушили, осталась одна лампадка, перед золочеными иконами, бабушка, та самая бабушка, которая пускала эти необычайные мыльные пузыри *вся белая, в белом, на белом и покрытая белым, в своем белом чепце, высоко лежала на подушках*“ **).

Толстой твердит один и тот же эпитет; этот прием легко достигает цели, хотя он и не так прост. Это то, что зовется стилизацией. Так же как на полотне художника видите вы игру каких-нибудь рыжих пятен и любуетесь повторностью тона, так же как в здании любуетесь вы повторностью линий, колонн и украшений—так и в словесной композиции повторяющийся эпитет сводит воедино все описываемое, звучит, как лейт-мотив. У Каратаева было все *круглое*, он сам был *круглый*, без углов, как камень, обточенный жизнью, простой по форме, но вечный по смыслу.

Иное дело, когда писатель дает обилие разных эпитетов. Это сложнее, труднее: так легко утомить читателя и сделать его равнодушным; такие описания частенько пропускаются, и страница перелистывается недочитанной. Вот какой совет давал Чехов молодому начинающему писателю, Горькому: „Читая корректуру, вычеркивайте, где можно, определения существительных и глаголов. У вас так много определений, что вниманию читателя трудно разобраться и он утомляется. Понятно, когда я пишу „человек сел на траву“, это понятно, потому что ясно и не задерживает внимания. Наоборот неудобно-понятно и тяжеловато для мозгов, если я пишу: „высокий, узкогрудый, среднего роста человек с рыжей бородкой сел на зеленую уже измятую пешеходами траву, сел бесшумно, робко и пугливо оглядываясь“. Это не сразу укладывается в мозг, а беллистрика должна укладываться сразу, в секунду“ ***).

*) Мережковский. Толстой и Достоевский, часть вторая, гл. I.

**) Воспоминания детства, гл. IV.

***) Письма Чехова, V т. стр. 489

Чехов вообще возводил в идеал краткость и советовал не вешать на стену ружья, на первой странице рассказа, если это ружье не выстрелит на последней. Совет очень мудрый, так же как и относительно изгнания лишних определений. Еще Лессинг высказывался против скученности эпитетов, потому, что такая скученность мешает понимать, куда именно относится прилагательное. „А кто же не чувствует, говорит автор „Лаокоона“, что три различные прилагательные представляют нам, пока мы еще не видим подлежащего, лишь смутный, шаткий образ“.

У Гомера, говорит Лессинг, эпитеты *единичны*.

Эта единичность эпитетов Гомера связана однако с другой особенностью греческого языка, которую передают и русские переводы, со сложностью этого эпитета. Ахиллес *быстроногий*, понт *темноводный*, *златоронная* Гера, *крепкостенная* Троя, Апполон *сребролукий*, *светозарнокудрявая* Эос, *двуострый* меч, быки *криворогие*, *чернорунные* овцы, град *многовратный* и т. д. *)

Это соединение двух определений в один эпитет явление весьма показательное. Зачем искал Лермонтов слияния любимых своих эпитетов „мерный“ и „звучный“, прилаживая их один к другому—„мернозвучный“ или „звучномерный“? Один словесный удар, вместо двух, всегда выразительней и такой сложный эпитет, он звучен и живописен. Это чувствовал еще Державин, который в лучшей своей оде „Видение Мурзы“ дает четыре сложных эпитета: „На *темнолюбом* Эфире“, „*сребророзовых светлиц*“, „из *черноогненной* виссона“, „*сапфиросветлыми* очами“.

Державин вообще пользовался этим приемом очень настойчиво

Шумящи, *красножелтые* листья
Расстлались всюду по тропам.

(Осень во время осады Очакова).

В броне блистая *златордяной*,
Как вечер во заре румяной...

(Водопад).

Как некий царь как бы на троне,
На *сребророзовых* конях,
На *златозарном* фаэтоне
Во сонме всадников блистал.

(Водопад).

Как глыба там *сизоянтарна*,
Навесаь, смотрит в темный бор,
А там заря *златобагряна*
Сквозь лес увеселяет взор.

(На возвращение граф. Зубова из Персии).

О, домовитая ласточка!

О, *милосизая* птичка.

(Ласточка).

Достоин внимания, что все подчеркнутые эпитеты рисуют предметы со стороны краски. Один из критиков рассматривает Державина, как поэта—живописца. Поэта красок, его поэзию как широкое яркое тонов. **)

*) Сложные греческие слова вошли в нашу речь еще в древний период эпохи принятия христианства: благоухание, малодушие, первообразный, сребролюбие. Любопытно, что Мерзляков в свое время предлагал переводить сложные греческие эпитеты по народному образцу: турезолотие рога, Дмитрий грозные очи—существительным с прилагательными: Гера белые плечи, вм. белошпечная (Буслаев, о преподавании отечественного языка, стр. 360 изд. 1867 г.)

**) Статья Грифцова См. „София“ за 1914 г. № 1, стр. 145.

В его стихах луна „полевым своим лучом золотые окна рисовала на лаковом полу“, у него на столе щука «с голубым пером», красы природы—это краски и тона:

Сребром сверкают воды,
Рубином облака,
Багряным златом кровы;
Как огненная река,
Свет ясный, пурпуровый,
Объял все воды вокруг.

(„Прогулка в Царском селе“).

Но нигде это тяготение к живописи не выявилось у Державина так четко, как именно в данных сложных эпитетах. *Златобагряный, сребророзовый, черноогненный, сапфировосветлый, милосизый, красножелтый, златозарный*. В области звуковой таких эпитетов у него совсем мало, и часто они не оригинальны: *сладкогласный, тихострунный, самочудный*.

Сложных эпитетов достаточно и у Пушкина, и у Гоголя.

У Пушкина: «Шопот речки *тихострунной*», «сладкозвучные творенья *многодорожный* наш Арзрум», „художник *быстроокий*“, „широкошумные дубравы“, „тяжелозвонкое скаканье“, „благовеющие речи“, «сок кипучий, искрометный». Ясно, что в этих эпитетах Пушкин одинаково чуток и одинаково зорок ни слуху, ни зрению: преимущества нет.

То же и у Гоголя:

„Жизнь при начале взглянула на него как-то *кисло-неприятно*, сквозь какое-то мутное, занесенное снегом окошко“.

„Герой наш был средних лет и *осмотрительно-охлажденного* характера“.

„Затейливо придумает свое не всякому доступное *умно-худощавое* словечко“.

„Зелеными облаками и неправильными *трепетнолистными* куполами лежали на небесном горизонте“ (*).

Всем памятно гоголевское слово «зеленокудрые»,—в описании Днепра.

И у Пушкина и у Гоголя сложный эпитет теряется среди других. Однако есть писатели, у которых он выступает, как характерная особенность стиля, как излюбленный, привычный оборот речи. Кроме названного уже Державина, следует упомянуть Тютчева и Бальмонта.

У Тютчева этот сложный эпитет идет от избытка и напряженности мыслей Бальмонта от избытка слов и образов.

Вот отрывки из Тютчевских стихов.

Весь день стоит как бы хрустальный.
И лучезарны вечера.

И опрометчиво-безумно
Вдруг на дубраву набегит,
И вся дубрава задрожит
Широколиственно и шумно.

*) Сложные эпитеты Гоголя указаны в книге Мандельштам «О характере гоголевского языка», стр. 179.

Последние строки—это описание летней бури. Вот «Фонтан»

Лучом поднявшись к небу, он
Коснулся высоты заветной

И снова пылью *огнецвертной*
Ниспасть на землю осужден

Как жадно к небу рвешься ты
Но длань *незримо—роковая*,
Твой луч упорный преломляя,
Свергает в брызгах с высоты.

О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!—

говорит Тютчев о душе своей:

Так, ты жидище двух миров,
Твой день—*болезненный и страстный*,
Твой сон—*пророчески—неясный*,
Как откровение духов.

Часто сложный эпитет Тютчева отображает именно эту двойственность бытия: *болезненный и страстный, пророчески—неясный, блаженно—равнодушный, блаженно—роковой, целомудренно—свободный*. Философский ум поэта объемлет предмет с противоположных сторон, и подыскивает ему сложно—противоречивое определение: *пророчески—неясный, пророчески—слепой*.

Иногда для воспроизведения этой противоречивости и сложности поэту мало одного сложного эпитета, он ставит их парами, ища выявления все той же двойственности бытия.

Как хорошо ты, о, море ночное!
Здесь лучезарно, там сизо-черно.

О, рьяный конь, о, конь морской,
С бледно—зеленой гривой,
То смирный *ласково—ручной*
То бешено—*игривый*

Переходя от Тютчева к Бальмонту, мы сразу почувствуем всю разницу в употреблении слова тем и другим поэтом. Эпитеты Тютчева примечательны: мы знаем его тяготение к слову «роковой», знаем это таинственное «некий», знаем сложность его эпитета! Переполненные юношески-страстным междометием «о!»—

О, вещая душа моя,
О, сердце, полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге
Как-бы двойного бытия!—

Стихи Тютчева сдержаны напряженностью мысли; ясность дня смущена хаосом, любовь трагически сопряжена со смертью.

Слова и чувства Бальмонта льются безудержно: он может радоваться, может тосковать, но тот и другой поток чувств текут не сталкиваясь в трагический во-
дорот, и потому он так неизбывно-красноречив в своих стихах.

„Большая зыбкость прилагательного, а отсюда и его большая символичность, так как прилагательное не навязывает нашему уму сковывающей существенности: делает прилагательное едва-ли не самым любимым словом Бальмонта^{*)}. Игра эпитетом, он не только двойит, но и тройит его.

Бог океан.

Волны морей, беспредельно—пустынно—шумящие,
Бог Океан, многогласно—печально—взывающий,
Пенные ткани, беспечно—воздушн.—летающие,
Брызги с воздушностью, призрачно—сказочно—тающей.

Горькие воды, туманно—холодно—безбрежные,
Долгий напев, бесконечно—томительно—длительный,
Волны морей, бесконца—бесконца—безнадежные
Бог Океан, неоглядно—темно—утомительный.

(Литургия красоты)

Изысканный, богатый, оригинальнейший слог Ан. Белого дает удивительное соединение почти всех разобранных нами приемов употребления эпитета. Его эпитеты дают часто звукопись, его эпитеты часто сложны, он любит их повторять, он играет ими, заплетая их в гирлянды и венки. Он воскресил, наконец, старую манеру отделять определение от определяемого; этим приемом эпитет подчеркнут, выделен, отведен чертою внимания.

„Пейзаж с объяснением в любви и с низко повисшею радугой, над которой Амур розовую пролил гирлянду.“

Переместились части предложения; обычно говорится: „Амур пролил розовую гирлянду“—и в этой обычности нет остроты восприятия и нет стиля, — „Амур розовую пролил гирлянду“ инос. Белый снова и снова отставляет эпитет слегка в сторону, и снова мы слышим его, видим краски, цвета и формы;

„Старая вчера изворичалась на милого бабка . . . Злой какой, ястребиный сумела метнуть на старушку глупая девочка взор . . . Синие нынче у нее под глазами круги.“

„Вышел он на терассу—смотрит: в зеленом в хмелю в золотом в воздушном в точно сон, певучем луче вчерашняя его стоит баба рябая, поглядывает баба рябая на Катю, с барышней нежничают, с красными ее ветерок с волосами заигрывает—ветерок перелетный.“

Какое причудливое соединение народности и жеманности стиля. Как в песне или в былине повторяется один и тот же предлог („у ключа, у ключа у студеного, у колодечка у глубокого“); и в то же время нечто от Карамзина и от XIII века в этой изысканной жеманной манере.

Эти примеры взяты из романа „Серебрянный Голубь“, и там же мы найдем в изобилии повторность определения. Андрей Белый повторяет взятое им определение несколько раз в одной главе на одной странице, повторяет его в одном предложении. „И тащился столяр через лужи кусты, сквозь усатую рожь, а его хворое, жалобное лицо, хворо и жалобно свесилось над дорогой, как у ботага носом“.

„Солнце большое, золотое, золотыми своими большими лучами моет сухой путь буреющий под солнцем луг . . .“ Это тот же прием квадрата эпитета, который мы отметили у Пушкина.

Повторяя определения, дает иногда Белый целый венок эпитетов, которые сплетаются, повторяя друг друга, перекликаясь и переплетаясь.

^{*)} А. А. Бальмонт. Книга образцов. СПб. 1906 г. ст. 206.

„И уже будет тебе невесть, что казаться: будто и кровь то ее океан—море—синее; и белое то лицо ее, истинно белое оттого, что оно истинно—сквозное: в жилах ее и не синее море, а синее небо, где сердце,—красная, как красное солнце, лампада; и ее тебе уста померещутся порпуровыми, порпуровыми телами устами тебя она оторвет от невесты; и будет усмешка ее—милой улыбкой, милой и грустной.“

Страстный любитель звукописи, Андрей Белый часто пользуется ею именно в совзвучии определения и определяемого. Опять-таки тот же прием, что отмечен нами у Пушкина.

„Густо гудит в ветре Абрам, ударяя по луже палкой.“

„И тухлое тусклое солнце.“

„В лунном луче перед ним рисовая блеснула вода.“

„Она тебе станет отчизной, которая грустно грезится по осени нам.“

„Волненьем жестоким и жадным глянуло на него безбровое ее лицо в крупных рябинах.“

„И робкая из пологого лога выглядывала хата.“

Изысканный, и напряженный стиль этого замечательного романа преисполнен эпитетами, и значение их двояко: они живописны и символичны. Автор „Серебряного Голубя“ тяготеет к ярким тонам: красное, синее, золотое, желтое, розовое—вот чего много и что бросается в глаза. И прозревается наконец за этой красочностью некий пожар; ведь—красное, синее, золотое и желтое это тона и переливы огня: К тому же и у Дарьяльского и у Кати пепельные кудри.

„Вот он в шелковой красной рубаше: молодцевато поскрипывают его сапоги и вьется пепельная шалка его волос.“

Рядом с Дарьяльским Матрена, рыжая, в красной баске, платок красный с белыми яблоками, губы у нее тоже красные—все это неуклонно отмечается при каждой с ней встрече. „Рябая баба, ястреб, с очами безбровыми“. И кружится все вокруг нее в хороводе ярких цветов: „Вдали красные бросались рубахи гуголевских девок; золотые синие и зеленые уже примелькались баски, и запели в воздухе, и горели яркие красные платки в воздухе, и стояли в воздухе звонкие песни.“

И над этой деревенской красотой, краснотой, пестротой заря красные свои проливает, кровавые токи.

„Оттуда бросил воздух красные свои, будто ковровые платы зари и покрыл ими косяки и бревна изб, ангелочки разные, кусточки унизал крест колокольный огромной пены рубинами, а жестяной петушек, казалось, был вырезан в вечере задорным, малиновым крылом.“

Красным чем-то окружен и опутан Дарьяльский, палит его огонь, обвивая языками синего, желтого, золотого, кровавого пламени.

Не потому ли и пепельные у него кудри, что он опален огнями, языками огня,—так же, как сам автор „пепла“:

И ты, огневая стихия,
Безумствуй, сжигая меня...

(„Родие“).

И вот Катя.

„И тихую она на раскаленной его груди положила головку: и кудри ее с его кудрями слились—кудри слились в один прядущий в ветре дым, что отлетает с красного пламени: какой костер зажег в том месте?“

От огней этого костра пепельные и у Кати кудри; но слабее она и тает ее восковые руки от огней, опалющих ее милого.

Мастерски подобраны краски в описании Гуголева: усадьба, баронесса, большой барский дом с портретами генералов, с безделушками и французскими книжками,—все это сделано в серовато-синих тонах. Седая баронесса ее неестественно белое от притирания в пудры лицо, старый лакей: „Ерсейч ходил во всем

сером", а Катя, она в синем платье, и ресницы у нее иссиня-темные, и кудри у нее пепельные.

Вспоминается старый портрет XVIII века, Боровиковский, с его словно припудренными красками.

Вот она—Катя: „Овальное ее, матовое лицо, в густых, в сквозных, в пепельных локонах; локоны падают ей на грудь“... „Протянутая эта шея, и это приподнятое лицо в пепельных локонах, ветром волнуемых, с бледно-розовым, чуть открытым, как венчик, ртом и со спокойными, удлиненными, нестерпимого блеска очами—все, все выразит утомление не то ребенка, не то уже много пережившей девушки“ Слезы и горе встает в глазах Кати, и вся она, в синем своем платье, не встает ли созвучно рядом с Сомовской „Дамой в голубом“—этим откликом современности стилю и тону далекого прошлого.

Звуковое, красочное, символическое значение эпитета в романе Ан. Белого неисчерпаемо. Но примечательно то, что как в этом романе этот эпитет прост, в следующем произведении „Петербург“, с возрастающей сложностью содержания, возрастает сложность эпитета и наибольшее количество таких сложных эпитетов в „Котике Летаёве“.

Соединяя в себе многие характерные приемы своих учителей в предшественников, Ан. Белый создает в своих романах стиль изысканно-оригинальный; изучение одних эпитетов этого стиля выявляет многие стороны, формы и содержания, замечательных его произведений.

Но что же такое, собственно говоря, эпитет? Поэтическое определение. Но соответствует ли эпитет грамматическому понятию определения? Нет. Определяя предмет и действие предмета, эпитет может быть определением, обращением, приложением, обстоятельством образа действия, может иметь форму простого отглагольного наречия, существительного и прилагательного. К эпитету—существительному особенно тяготеет Пушкин. И это существительное становится то подлежащим, то обращением, то приложением, то сказуемым.

Чудак, появив на пир огромный,
Уж был сердит

Гляжу ль на дуб уединенный
Я мыслю: патриарх лесов
Переживет мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.

Подлежащее: А вот эпитет в форме обращения:

Пора, дитя мое, вставай:
Да ты, красавица, готова!
О, пташка ранняя моя!

Наиболее распространенной формой эпитета—существительного является приложение. Для Пушкина эта форма—влюбленная. Он ниже порой эти приложения одно на другое:

*Театра злой законодатель,
Непостоянный обожатель,
Очаровательных актрис,
Почетный гражданин кулис,
Онегин полетел к театру.*

*Я царствую!... Но кто вослед за мной.
Приимет власть над нею? Мой наследник!
Безумец, расточитель молодой,
Развратников разгульный собеседник.*

*Иль скажет сын,
Что серпце у меня обросло мохом,
Что я не знал желаний, что меня
И совесть някогда не грызла, совесть,
Когтистый зверь, скребящий сердце, совесть
Незванный гость, докучный собеседник,
Замодавец грубый, эта ведьма,
От коей меркнет месяц и могилы
Смущаются и мертвых высылают?...*

Приведенные выше краткие характеристики русских и иностранных поэтов-сделаны Пушкиным именно в виде приложений, и вот еще один очень памятный аналогичный пример:

Здесь *зачинатель* Барклай, а здесь *совершитель* Кутузов,

Тут Апполон-*Идеал*, там Ниобея-*печаль*.

Приложение, как эпитет—прием свойственный речи народной *). И этот прием усиленно культивируется одним из наших современников, Н. А. Клюевым. Его стихи, отзвук народной северной речи, изобилуют этим оборотом поэтического языка,

*У дородных добрых молодцов,
Мигачей и заливчатчиков,
Перелетных, зорких кречетов,
Будут шапки с кистью до уха...*

*Приурочил для тебя
Плат и вихоря—коня.*

*Солнце—колокол
Точит благовест,*

И где ночь—горбунья зелье варит.

Наречие и, так называемое, деепричастие, определяя глагол, дают тоже эпитет:

*) Обилие примеров в книге Потебни «Из записок по грамматике» III ч, гл. II.

*И опрометчиво—безумно
Вдруг на дубраву набежит.
И вся дубрава задрожит
Широколиственно и шумно.*

Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба
Смеясь на землю пролила.

Он мерит воздух мне так бережно и скудно,
Не мерят так и лютому врагу...
Ох, я дышу еще болезненно и трудно,
Могу дышать, но жить уж не могу.

Волны несутся, гремя и сверкая,
Чуткие звезды глядят с высоты
(Тютчев).

Это многообразие форм эпитета объясняется первостепенной важностью поэтического определения во всякой человеческой речи. А потому анализ эпитета дает в понимании стиля писателя больше, нежели анализ того же сравнения.

Попробуем, для примера, свести итоги наших наблюдений над эпитетами Пушкина. Говорят, что эпитет его богат и прекрасен. Более тщательное рассмотрение вопроса раскрывает смысл этих слов: эпитет Пушкина прежде всего звучен, вернее, созвучен с определяемым словом (Медный Всадник); богатство его эпитета выражается в том, что он одинаково зорок и чуток; мир звуков, мир красок, внешнее и внутреннее, одинаково доступно его определению. У него почти нет излюбленных эпитетов (как у Лермонтова), каждому человеку свое имя, каждому предмету свое название. Поэтому Пушкин так щедр на краткие характеристики своих современников, друзей и любимых авторов. Эти характеристики—эпитеты зачастую даны в форме существительного. Данный прием придает речи особую силу и мужественность („Другой от нас умчался гений, другой властитель наших дум“). Прилагательное, характерное для Бальмонта, эпитет женственный. Пушкин создает и сложный эпитет, но употребляет его умеренно. У Лермонтова этих сложных эпитетов почти нет (слишком верен он своему очень определенному внутреннему миру); у Тютчева и Бальмонта сложный эпитет преобладает. Пушкин знает его, пользуется им, но чтобы найти подходящий пример, нужно долго листать его стихотворения.

Его умеренность и строгость сказываются также в том, что он ставит, за редкими исключениями, перед словом по одному эпитету. Он не любит повторять своих эпитетов (в противоположность Толстому), и самое большое, что позволяет себе, это своеобразный прием квадрата эпитета („Красавица модных модный враг“).

Разобрать эпитеты это не значит дать полный стилистический анализ какого-либо автора, но это значит прочувствовать одну из самых характерных сторон человеческой речи. Речь ребенка лишена эпитета, начинающий поэт ищет прежде всего сильного и меткого определения, и поэт великий прежде всего характеризуется эпитетом, озаряющим мир внешний и внутренний.

З а д а ч и.

№ 63.

Взяв какое-либо стихотворение, укажите, какие определения являются поэтическими (эпитетами) и какие — прозаическими.

№ 64.

Взяв какой-либо отрывок, указать в нем эпитеты простые и метафорические.

№ 65.

На каком-либо образчике, выясните, какой частью речи может быть эпитет? Чем определяется существительное и чем определяется глагол?

№ 66.

Взяв монолог Скупого Рыцаря (В подвале), выписать оттуда эпитеты, данные в форме приложения.

(А этот? Этот мне принес Тибо.

Где было взять ему, ленивцу, плуту?)

То же: I гл. и V гл. „Онегина“.

№ 67.

Дайте эпитеты к словам:

облако, волна, ветер, трава, клен, огонь, глаза, походка, струна, зарево
дни, жук, губы, липа;

дума, песня, сказка, злоба, месть, ожидание, речь, слезы и т. д.

(Данное упражнение удобно делать, имея в руках „Эпитеты литературной русской речи“ Зеленецкого и дополняя его подбором опыта учащихся).

№ 68.

Какой-либо, яркий по эпитетам, отрывок прочитывается целиком; затем учитель читает его медленно, опуская эпитеты: учащиеся их должны воспроизвести по памяти.

Проделать то же с какими-либо стихами.

№ 69.

Учитель диктует учащимся примечательный по эпитетам отрывок прозы, опуская эпитеты и предлагая найти их самостоятельно. Учащиеся вставляют; работы читаются и сравниваются; и наконец читается целиком взятый учителем образец.

№ 70.

Учитель пишет на доске стихи, тоже интересные по эпитетам, также их пропуская. Для вставления в текст эпитетов учащиеся должны считаться с размером. Работа подобная предыдущей, но труднее.

„Осенний вечер“ Тютчева.

Есть в светлости осенних вечеров	
— — прелесть...	Умильная таинственная
— блеск и пестрота дерев,	Зловещий
— листьев —, — шелест	Багряных, томных, легкий.
— и — лазурь.	Туманная, тихая
Над — сиротеющей землею	грустно
И, как предчувствие сходящих бурь,	
— — ветер порою;	Порывистый, холодный
Ущерб, изнеможение, и по всем	
Та — улыбка увяданья	кроткая
Что в существе разумном мы зовем	
— стыдливостью страданья	Возвышенной.

№ 71.

Взяв отрывки повествовательный и описательный, выяснить, в котором больше эпитетов — и почему?

№ 72.

Выписать из какой-либо былины постоянные эпитеты народной речи.

№ 73.

Где больше эпитетов: в сказке или в былине?

№ 74.

Выделите в одах Державина сложные эпитеты.

№ 75.

Выпишите из „Евг. Онегина“ эпитеты, созвучные определяемым словам.

№ 76.

Найдите в „Евг. Онегине“ места, наиболее богатые эпитетами.

№ 77.

Выпишите эпитеты из какого-либо отрывка из „Евг. Онегина“.

№ 78.

Найдите у Лермонтова эпитеты в антитезе.

№ 79.

Докажите примерами, что Лермонтов тяготеет к одной группе эпитетов. (См. указание на эту группу — выше).

№ 80.

Найдите в стихах Тютчева сложные эпитеты.



